

Галина КАЛИНКИНА

ЛЮДИ С ПРОШЛЫМ

«Он мог быть разорванным надвое — между страданиями своего времени и его высокими идеалами. Вопреки всему он возвращался, обретая гармонию!»
Ермолинский о Заболоцком

«Не придавайте особого значения дачным знакомствам»
«Молодые поэты и писатели, ваши таланты гибнут, сегодня же пошлите мне несколько выдающихся ваших произведений и три рубля по адресу: село Черемхово Иркутской области»
Журнал «Нива» 1911г.

Часть I. СИНИЙ СТУЛЬЧИК

Янек невинно считал, что детство у всех счастливое и другого не бывает. Янеку все люди вокруг казались счастливыми, и он свое счастье находил повсюду. Правда, ребята в школе — бывшей гимназии на Большой Молчановке — считали его выскочкой, везунчиком, но то единственно от мальчишечей зависти. Нянька любила Янека больше других детей Тверетиновых — посему младшенький. Отец, кажется, тоже любил. Иногда Ян сомневался в отцовской любви, потому не искал ее. Отцова любовь сама его находила, когда Тверетинов-старший вел сына бульваром за газводой, косясь на их белые выходные рубашки и гордясь необыкновенным родовым, семейным, физиономическим сходством в породистых лицах: в четких изломах бровей, ямочках подбородков, искусно вырезанных ноздрях птичьих носов — копия малого во взрослом и наоборот.

И город приветствовал Янека. И родина любила октябренька. И братья-курсанты, без пяти минут офицеры, обожали последыша. И мама отдавала сыну ту любовь, что принято называть безраздельной. Любовь, изливаемую особо бурно во времена охлаждения отношений с мужем, окликаемым ею в такие дни сухо — Тверетинов. В такие дни мама часто спала в сыновней спальне, прижимая к себе счастливого Янека, как плюшевого медвежонка, которого любишь и жалеешь с детства и до часа кончины, даже если ты сам давно вырос и постарел, а верный твой плюшевый друг уже не так мил, не так забавен.

А гимназическая мальчишечья зависть от того и расцветала, что только за Янеком по четвергам к четвертому уроку подъезжала новенькая «Волга» с никелированным оленем на капоте. Только за Янеком приходил адъютант в форме «с иголки» с офицерской планшеткой, намотанной петлей кожаной портупей вокруг запястья, будто пристегнутой наручником. Адъютанты иной раз замещались: привычного Женю сменил Игорь, едва обвыкшегося Игоря — Андрей, а того уже новичок Яша. И ни один больше не возвращался в счастливую Янкину жизнь. И даже как порученцы перестали носить военную форму, а появлялись в штатском и с подозрительной трубой — черным тубусом или с «Лейкой» вместо кожаного планшета, Ян все равно по особой походке и выправке узнавал в них вояк.

Когда по пути домой порученец и мальчик заезжали по паре адресов, «так папа приказал», со стороны казалось, будто, держась за руки, идут два брата — старший и младший, из приличной семьи. Казалось, взахлеб обсуждают новость про первый искусственный спутник, про четвертую модель «Аннушки» с долгой выдержкой, улыбаются звенящему столичному дню, бегом, через ступеньку поднимаются на верхние этажи и иногда, игры ради, выходят через черный ход. Там водитель, уже перегнавший машину с улицы во двор, натирает оленя рукавом отжившего цветастого халата, пущенного на ветoshь. Адреса Янек со временем запомнил наизусть: Сивцев Вражек, 17, Лялин переулок, 6, бывший доходный дом Панафидиных в Яковоапостольском переулке и еще несколько.

Вот адреса, в отличие от порученцев, не менялись.

В панафидинском доме по случайности пару раз наталкивались на священника в буднем облачении, с громкой отдышкой спускавшегося навстречу, суетливо переби-

рая ступени и собрав в кулак край рясы, а в другом кулаке зажав ключи от только что запертой квартиры наверху. Тучный священник позвякивал пряжками незастегнутых сандалий, при встрече смущался, краснел и держал глаза долу, вероятно, боясь оступиться. И Янеку казалось странным, что его сопровождающий со святым отцом не раскланивался, а своим ключом отпирал ту же дверь, что минутой раньше запер поп. Но мальчик не задавал вопросов, как и не интересовался, почему все дома, в которых их никто не привечал, казались похожими друг на друга чуланной тишиной и нежилой обстановкой.

Убедиться наверняка в той схожести Янеку пока не удавалось. Всякий раз ему предлагали посидеть в коридоре на стульчике, с сиденьем, обтянутым плотной синей тканью. Этот синий стульчик любезно был выставлен в коридор и в Сивцевом, и в Лялином, и в Яковоапостольском, будто выдернут, разрознен из мебельного гарнитура. И все десять-пятнадцать минут ожидания, пока, судя по шороху, спутник Янека возился с какими-то бумагами в комнате за притворенными дверями, не казались мальчику долгими. Потому, что каждый раз он сочинял историю навещенного дома.

В Сивцевом как будто бы домочадцы уехали к морю и оставили цветы герани на попечение порученца Яши. В Лялином, напротив, жильцы еще не заселились, и предстоит подготовиться к их переезду. А в Яковоапостольском и вовсе невероятное событие. Ян слышал о таком случае, произошедшем где-то в другой стране, но запомнил город с трудным слуху названием.

Он представлял, что тут в доходном доме Панафидиных, как и в том чужом городе, хозяева во время войны покинули жилплощадь, надеясь вскоре вернуться, но не пришли сюда больше никогда. Квартира казалась давно не отворенной, нежилой, с нетронутыми, много лет не сдвигаемыми с места предметами, сохранившей тот, чей-то, жизненный беспорядок, оборванный невозвратным хлопком двери. Воздух здесь стоял полный пыли, духоты и сухости газет, исправно пропихнутых почтальоном в прорезь на дверной створке и заботливо сложенных Яшей в несколько ровных пожелтелых пачек на полу коридора.

Желтые газеты будто бы только и ждали звонка в дверь да залиvistого пионерского голоса сборщика макулатуры. Но выглянувший в прихожую Яша почему-то не отворил двери и как-то так близко, не сходя с места, взглянул на Янека, что тот вдруг перестал чувствовать ноги, которыми только что болтал, сидя на стуле. Спустя минуту взрослый, улыбнувшись, уже вернулся к своему занятию в комнате. А ребенок на синем стульчике вдруг подумал, что он и его старший товарищ, отворив забытую квартиру, что-то нарушили в чужих правилах.

По истечении пятнадцати минут порученцы всякий раз с озабоченным видом выходили в прихожую, потом, будто вспомнив о присутствии мальчика, тотчас меняли суровую физиономию на панибратски-приветливую. И, выполнив иные предосторожности, снимали цепочку с двери, запирали снаружи замок, вызывали наверх кабинку лифта с деревянными створами, а сами мягкими вкрадчивыми шагами спускались вниз по черной лестнице во двор-колодец.

О том, что мир не равен абсолютному счастью, Янек узнал не от няньки, сетовавшей на старость и маячившую бездомность после грядущей отставки из дома Тверетинных. Не от мамы, плачущей, кажется, вовсе без причин, о чем ни заговори, и снова окликающей мужа по фамилии. Не от отца, появлявшегося домой к утру со взглядом глаз-буравчиков, воспаленных бессонницей, как у ночного сторожа. Иная сторона жизни, ее непредсказуемость и жестокость открылись в один из четвергов и стали неожиданностью не только для мальчика, но и для его спутника.

В дверях квартиры третьего этажа в Яковоапостольском, к которой, как всегда спешила через ступеньку, прибежали Янек и штатский с тубусом, уже толпился народ. Привалившись к косяку, стоял слесарь с деревянным саквояжем, отороченным ключьями былой роскошной кожаной обивки, в непомерно крупной пятерне. Его окружали три тетки такого вида, людей какого вышколенная нянька на порог тверетиновского дома не впускала: что-то вроде прачки, молошницы и дворничихи. Двое служивых орудовали внутри квартиры, не разрешая любопытствующим пересекать коридор и называя их понятиями.

Пока ординарец, словно случайно проходивший мимо студент с братишкой, толкался в дверях и задавал приличествующие случаю вопросы, Янек, заглядывая между ног взрослых и брючно-юбочных завес, рассматривал валявшийся на боку синий стульчик, край рясы и наперсный крест, зажатый цепью в кулак. Почему-то поразили ноги попа в рыжих не застегнутых сандалиях, плотно сдвинутые в пятках и аккуратно раскинувшиеся носками влево и вправо, как зеркальные крылья бабочки-многоцветницы. Рядом на полу сброшенной кожей змеи вился край толстой веревки. Другой её конец уползал за дверь зала, но казалось, тянуть за него нельзя, потому что потянешь и уви-

дишь что-то дурное, непонятное, обидное, разрушительное, хуже опрокинутого стульчика. Черные одежды, синее сиденье и полкоридора были присыпаны раскрошившейся известкой, как сахарной пудрой свежая выпечка няньки. Янек поднял мордашку кверху и на месте коридорной люстры над плечом дядьки-слесаря увидел вывороченный из потолка крюк, торчащий грозным согнутым пальцем.

- Видал, записку на газете нацарапал.
- В грехах, должно быть, виноватился.
- Бог его наказал за тайну исповеди.
- Совесть замучила. Совесть — не зуб, не вырвешь.

— Дуры вы, дуры. Бери глыбже — верхи! — слесарь переложил саквояж в левую пятерню и указательным правой тыкнул в потолок парадного.

Тетки задрали головы и уставились на пятно сажи с присохшей посредине, обгорелой спичкой. Штатский воспользовался моментом, подхватил за руку оцепеневшего Янека и потащил его к лифту, на ходу запихивая в нагрудный карман пиджака обрывок пожелтевшей газеты с каракулями. Когда тетки и слесарь опустили головы, мальчика и студента с тубусом не было, как не было.

Янека больше не водили в пустующие квартиры Сивцева и Лялина. А в Яковоапостольском в «забытую квартиру» на третьем этаже вскоре заселилась семья тихих, малозаметных, неразговорчивых людей, чуравшихся соседей. Они не походили на осласливленных новеньким ордером жильцов, скорее, на тех, кто потерял надежду вернуться в свою, запертую далеко отсюда жизнь.

Ян после того четверга заболел лихорадкой. Отец проводил возле него всякую свободную от службы ночь. Материны слезы высушила тревога за ребенка, бредившего и поминавшего в горячке рыже-черную бабочку-многоцветницу. Няньку оставили в доме еще на год-два. А когда Янек выздоровел и с усердием принялся нагонять учебу, ординарцам был дан приказ отводить его после школы напрямиком домой, не напоминать мальчику про четверги.

Да только Янек уже не верил ни в звенящий полдень, ни в бульварное солнце, ни в абсолютное счастье. Слово свет потускнел всюду в один час четверга.

Часть II. ПЕНАТЫ

Лето примиряет человека с жизнью.

Каждым началом каждого лета Тверетиновы выезжали на дачу в Малаховку.

Выезжали в три захода. Паковали, спорили, распаковывали, снова паковали. Первой собирали няньку Прасковью Захаровну. Подводой, навьюченной доверху пожитками и кухонным скарбом, правил сосед-будочник — нянькин земляк. В начале недели по столичным мостовым он пригонял лошадь; откуда — никто не интересовался. Под выходной матрасами, подушками, одеялами и тюками с носильными вещами нагружали по самые борта легонькую полуторку. И только получив телеграмму с сельской почты, что у няньки все готово, на служебной «Волге» выезжала на дачу чета Тверетиновых с сыном.

Янек в ту пору был мало счастлив и каждое лето ждал каникул, как сплавщики ждут большой воды, чтобы спустить плот и отправиться в путешествие. Но больше Янека радовалась выезду нянька. Неподалеку от Малаховки лежала деревенька Верея — бывший старообрядческий хутор в пять дворов, откуда Паню вывезли девочкой в услужение еще бабушке Иечке Белавиной, в замужестве Тверетиновой. И няня Паня, Панюся, Прасковья Захаровна любила говорить про свою Верею: особые токи там чую, промысел Божий. Она выросла у чужих людей и всю жизнь прожила по чужим людям, но помнила родной дом, где и у нее были мама и папа.

На дачах нянька водила Янека в купальню на речку Македонку, на лодочную станцию, на «гигантские шаги», гулять по улице Петропавловской, по Невскому проспекту, где прежде бегала конка, к Летнему театру, на чьей сцене с заезжей труппой блистала Алиса Коонен. Обгорелую дачу возле театра и домики-дачки бывшей колонии для беспризорников Прасковья Захаровна всякий раз миновала бегом, оглядываясь по сторонам, сплевывая, крестясь, будто отгоняя нечистую силу. Ян вырывал руку, стесняясь нянькиной опеки и суеверности.

Летом Янек вступал в настоящий мир, живой и всамделишный, в мир игр на воздухе, загородной природы, которая не спешила принимать городских мальчиков, как бы уклоняясь от тесных объятий, как бы не доверяя приезжим, балованным, одним словом — дачникам, господам, разговоры разговаривающим.

Малаховские дачки прятались за высокими заборами и под мохнатыми кронами корабельных сосен. За лето участки буйно зарастали кустами черемухи, персидской сирени, малины и ежевики — сквозь заросли с улицы не разглядеть чужую жизнь: ни

террасы, ни крыльца. Вот только встав на цыпочки у калитки, прохожий мог бы увидеть край тропинки и в глубине мезонин с балкончиком.

Звук здесь разносился далеко разве что в рассветный час. Тогда сам мир казался прозрачным, бесплотным, девственным. А в полдень и к вечеру между хвоей и листьев повисала какофония звуков природы и мира человека. И при такой закрытости на каждой даче пребывали в курсе жизни соседей. Все новости по улице разносились будто на комариных крылышках, будто в бидонах молошницы, в сумке почтальонши, на колесах телеги с парным навозцем, на велосипедных спицах.

Справа от Тверетиновых, крайним на улице, ютился домик коменданта Фофанова, с проживающей в нем круглый год оравой детишек. «Фонарщики», презрительно цедил в их сторону Тверетинов-старший. Дача слева обычно пол-лета стояла заколоченной, она принадлежала столичному чинуше-вдовцу Полуэктову, семья которого объявлялась в Малаховке наездами и всякий раз так же внезапно сворачивала пожитки и мчалась обратно в город, не связанная капризами ребенка или установкой на оздоровление потомства. В присутствии Полуэктова сам Тверетинов вытягивался по струнке, напрягался, замирал в ожидании плохого. Но раз за разом ничего плохого не происходило. Полуэктов, переночевав две-три ночи, просидев в доме, не выходя на двор, срысывался обратно в город. И так до следующего появления вдруг.

Напротив дачи Тверетиновых, через улицу, торчал на пригорке легкомысленной постройки дом с колоннами, башенками и флюгерами, куда с мая по сентябрь заселялась семья известного московского гомеопата Феликса Евгеньевича Леве. Тверетинов-старший семейство Леве прозывал «слишком опереткой». Дальше к дому с колоннами лепились дачи Михельсонов, Яцунских, Карзинкиных, по прозвищу «графство Митрича»; а после уже улица изгибалась, и от калитки не увидать ее другого конца.

Просыпались дачники поздно, день проводили в праздности, дремали после обеда, сумерничали и будто только и делали, что ждали вечера. Днем разбивали цветочные клумбы, варили варенье, раскладывали пасьянсы, качались в качели, читали, купались; у Леве еще иногда играли в крокет, давали концерты и ставили домашние спектакли. Главное для дачников — убить время. Вечером — встреча «дачных отцов», шедших со станции лесными тропками, заглядывая на ходу под сосенки в надежде отыскать боровичок с подосиновиком. Друг к другу ходили часто и запросто, засиживались допоздна, до неприличия, до полуночного часа, никогда не позволяя себе такую бестактность в городе.

В дачном воздухе сквозила легкость и непосредственность.

Люди жили на дачах, где текла, несмотря на близкий полет человека в космос, медленная, праздная, патриархальная жизнь, в которой еще грели на щепках и шишках двухведерные самовары, церемонничали, созывая на чаепития, но уже давно не говорили на французском, потому что французскую речь теперь никто не понимал.

Дом с колоннами и флюгерами улица прозвала «Пенатами». На первый взгляд, уклад жизни в «Пенатах» подчинялся значимости практики Феликса Евгеньевича. Более пристальным вниманием всякий любопытствующий легко определил бы стержень того веретена, что, вращаясь, пряло нить жизни семейства Леве — неутомность бабского воинства.

Для каждого дня было довольно своей заботы.

Один день сменял другой, где цедила драгоценная нега неровного, спотыкачего подмосковного лета. Когда москвичи нежились в постелях, Фофановы после раннего завтрака выпускали свою ватагу со двора, ничуть не заботясь о тишине, ничуть не беспокоясь, где дети проведут время и когда вернуться. Этих детей не нужно было загонять домой: они самозванно объявлялись к обеду либо к ужину, если угостились обедом на соседской даче. Фофаниха весь день хлопотала по хозяйству, занималась стряпней и приборкой. Ходила в лавку к станции, заглядывала на почту к товарке. Единственное ее развлечение — обмен новостями с почтальоншей, также зимовавшей в Малаховке, как и семья коменданта. Уж они-то любили устроить «дащикам» разблюдовку: кто с кем снюхался, кто с кем разжопился. Комендант по прозвищу Фофан или Фонарщик, как окрестил его Тверетинов-старший, обязанности свои исполнял с ленцой, не радея ни общим благом Товарищества, ни благом собственного участка. Однако вся округа ценила его как мастера и рукодельника; он, к примеру, искусно перетягивал матрасы. Но то же окружение недолюбливало коменданта за нерасторопность и пустые обещания. Старожилы от него требовали проследить, чтобы нувориши, взявшие моду снимать на одно лето пустовавшие дачи, не ставили высоких частоколов, чтобы не вырубали на участках деревья. Комендант обещал потребовать, но смотрел на переделки сквозь пальцы.

Для каждого дня было довольно своей заботы.

В тот день в тамбуре пригородной электрички, тащившей из Москвы по железке

утомленный городской духотой рабочий люд, шел такой разговор:

— Я пройду в последний. Выходи одна. Позже встретимся. Не к месту сейчас.

— Куда ты пропал тогда? И теперь прямо в этот вагон... Я опоздала на свою... Села на следующую... И тут вдруг в Панках... ты.

— Тише! На нас обращают внимание. Все объясню. После.

Выйдя из головного вагона, женщина не оглядывалась назад, как он просил. Чувствовала упреждающий взгляд в затылок: не смей оборачиваться! Спустилась по ступеням платформы, дала себя обогнать веселой паре, дядьке в панаме, старушке с сизой индейской косичкой на шее. Притормозила уже в первых соснах, где зачиналась тропинка к дачам, и тут обернулась. Тоскливый свисток уходящего состава, пустая платформа. Она вдруг поёжилась и пошла нагонять голоса в соснах. Торопко шагала и ругала себя, что расчувствовалась, как первокурсница на посвящении в студенты. Неожиданность встречи застала её врасплох. За два года она перебрала много слов, что скажет ему. Это будет не упрек. Это будут слова-пощечины. Но сегодня в вагоне просто обрадовалась. Только то не прежняя радость — видеть его глаза. То радость удивления встречей со знакомым, какого давно не видел и вдруг случайно столкнулся. Это так. Это правда. Она больше не врет себе. И она теперь сильнее его. Потому что свободна от него. Потому что он не знает про ее свободу.

Мужчина, не приближаясь, проводил девушку до калитки дома. Удивлялся, не любил случайностей. Почему он вскочил именно в тот вагон и сел в Панках напротив нее. Откуда? Как? Бывают такие совпадения, что не объяснить. Это злило. Ах, как хороша, как по-прежнему хороша... Может быть, только простовата. Но есть в ней пикантность. И что-то новое есть, чего он еще не угадал.

Для каждого дня было довольно своей заботы.

Хозяйство в «Пенатах» вела чухонка, женщина средних лет в конопушках, молчаливая, старательная, дорожившая местом и заработком, каждую копейку жалованья отсылающая на родину сыну и матери. Дело в ее руках спорилось. Стряпня ладилась: опара подходила вовремя, кофе не убежал, супы не пересаливались, каша не подгорала. Чухонка знала несколько праздничных блюд и превосходно запекала фаршированное карпа, зашивая ему брюхо суровыми нитками. За сноровку ее ценили хозяева, каждой весной загодя нанимавшие в «Пенаты» помощницу на лето.

А если за домашние дела вдруг бралась супруга доктора — Марина Артемовна — Мара, то непременно что-то ее отвлекало — певчая ли птичка, кукурузник над соснами или никак не вспоминаясь реплика из «Иванова». И тогда дочери морщили носики от чада из кухни, Борисик — младший Леве — носился по двору с радостными криками «Пожар! Пожар!», а сам доктор рисковал остаться голодным. Потому чухонку старались не отпускать на выходные. Провиант на дачу возил сам глава семейства; недостающее покупали в лавке у станции.

Дочери-погодки Вера и Валерия красотой вышли в мать: высокие — одного роста, тонкой кости, белокожие брюнетки, не смуглевшие в загаре даже к Ильину дню. Все трое настолько несхожие внешне, что не примешь за дочь и мать, за сестру. Только голосами сходились, с напевными, грудными нотами. Когда смеялись от души, не сдерживаясь, человек, непривычный к близости такой красоты и гармонии, бывал заморожен смехом трех граций. Различались и глазами, и характерами. Вера — старшая, желтоглазая — чуть-чуть заносчивая в своем старшинстве и кичливая. Лера — голубоглазая насмешница — не отказывалась подражать сестру и посоперничать с ней за поклонника, но насмешничала незлобиво. Сестры любили друг друга непреложно, как обычно любят собственное тело, дом и родину.

Как бы ни были свежи, юны и задорны девочки, их мать казалась свежее и задорней. Она находилась в той поре, какая вобрала в себя все ценное за годы опыта, флирта, фронды, успеха, поражений и тихой заводи. Мара играла в провинциальных театрах заурядные роли, когда вдруг ее заметил в Калуге проезжий столичный доктор. На той встрече прервалась гастрольная карьера Марины Мокричкиной, и она стала актрисой одной сцены — дома гомеопата Леве. Доктор обожал супругу, смотревшую на него разными глазами: правым голубым и левым желтым с карими крапинами. Но такого обожания не разделяла мать доктора — старуха Леве. Ей хватало воспитания не вступать в открытое противостояние с невесткой. Но все годы брака Мара чувствовала за спиной близкое дыхание скепсиса: каботинка.

Почти все лето с семьей Феликса Евгеньевича проживал на дачах его двоюродный брат. Виктор Леве в узком кругу считался неплохим пейзажистом. Вот уже третий год по долгу службы ему приходилось писать портреты советских вождей и важных партийных руководителей. Но лето становилось отдушиной от службы и обязательств. Лето давало свободу передвижений, расширение горизонтов, призрачность выбора. Виктор целыми днями таскался с этюдником по берегам Македонки, по оврагам, лужайкам,

березовой роще, сосновому бору. Иной раз и треногу не ставил, и за кисти не брался. Просто молчал и думал. Думал и молчал. Смотрел в небо сквозь хвою. Видел золотистые чешуйки сосновой коры, ячеистость шишек, видел нити, спицы и клубки облаков. И не замечал в небе парящего кукурузника, орошающего химикатами поля. Он тяготился одиночеством и вообще считал себя неудачником, вернее, он думал, что таковым его считают окружающие и мысленно соглашался. А его собственного мнения на этот счет никто и не спрашивал. В своем возрасте не знал еще женщины, хотя те волновали его чувственностью. Женское нагое тело не было редкостью на его полотнах. Он просто не показывал окружающим, что умел делать совсем иное. А в жизни он не знал, о чем говорить с женщиной, когда остаешься с ней наедине. Совсем другое — племянницы, тетка или Мара. С ними он не терялся и не стеснялся своей неудобной рассеянностью, нелепого умения вступить невпопад. Виктор тяготился одиночеством и семейство двоюродного брата считал собственной семьей. Хотя совсем недавно самому себе со всей прямотой и честностью признался, что не только семья брата составляет нынешнее его лето в Малаховке.

Борисик слыл всеобщим любимчиком в семье, баловнем отца и матери. Над ним тайно вздыхала чухонка, вспоминая сына. Борисик Леве и Янек Тверетинов — одноклассники и друзья с детства — зимой не встречались в городе. Но каждым началом каждого лета смущенно-нежно бросались друг другу в объятия. Смущения хватало на четверть часа, а дальше начинались взрослые тайные разговоры, причем казалось, будто мальчики продолжили с того места, на каком остановились на Третий Спас — ореховый — перед самым отъездом с дач прошлым летом.

Четверг в «Пенатах» тянулся обычным дачным днем, замешенным на лени, праздности, мечтах. Чухонка стряпала. Марина Артемовна мурлыкала мелодию из «Венских женщин» Легара, составляя свежий букет флоксов для залы. Столовая остыла после раннего обеда. Старуха дремала на веранде, слегка покачиваясь в кресле-качалке. Мара напевала, старуха скрипела креслом. Девочки еще до завтрака уехали с отцом в город и обещали вернуться к вечеру вместе или по отдельности, если хлопоты не заставят заночевать в городе. Борисик и Янек прятались под ракитой у крокетной площадки, сюда не проникали взрослые. Сидели на траве у забора, по-мужски обхватив руками колени. Обсуждали, как похорошели девочки-двойняшки — Нина и Тоня Фофановы, как выросли за зиму их братья — Петька и Пашка — вечные враги Бориса и Янека. Из окна кухни за ракитой и террасой приглядывала чухонка, в синем холщовом фартуке перемывая столовый фарфор после рыбной солянки. Мальчики шептались, Мара напевала. Старуха скрипела креслом.

В то же время в доме напротив, у Тверетиновых, нянька Захаровна по пятам ходила за Ией. Нянька видела припухшие веки своей воспитанницы и хотела отвлечь ту от грустной задумчивости; все-то сварятся.

- Так какой подавать? Распорядись, хозяйюшка.
- Почему я знаю, нянюшка? Реши сама.
- Мне, старухе, все едино. Тебе-то как?
- Отстань, Панюся! Не голодна я.
- Нехорошо это. Есть надо. И Янека кормить надо... Вот где ребенок?
- В «Пенатах», должно быть. Оставь меня, пожалуйста...
- Оставь, оставь... Ты только скажи: рассольник с потрохами или щи щавелевые?
- Все равно.
- Эх, старших твоих нету. Они мою стряпню любят.
- Мальчики в Сельцах, в летних лагерях, ты же знаешь.
- А сам что есть будет? Вот ведь опять за полночь приедет... поди, голодным...
- Там кормят... Не говори мне о нем!
- А что натворил-то?.. Ты поделись, деточка. Может, нашел кого?
- Лучше б нашел. Я сама, Паня. Уйди.
- Вот белавинский характер. Все сама да сама. Янек! Обедать! Ау...

В доме коменданта шел разговор из пустого в порожнее. Фоханиха грела молочную лапшу и выкладывала на клетчатую клеенку покупки из авоськи. Муж слушал жену вполуха, прислушивался к «Последним известиям» по радиоточке. Говорили что-то о срочном созыве внеочередного Пленума ЦК КПСС, упоминалась фамилия Хрущева. Старшая дочь Валентина, приехавшая к родителям на каникулы, тоже не слушала мать. До нее доносились обрывки материнского рассказа, но Валя давно научилась в родительском доме жить в параллель и молча. Родители неплохие люди, только разные они: комендант дачного поселка, его жена-домохозяйка и студентка столичного мединститута — Валентина Фофанова. Валя жалела родителей, любила младших сестер и братьев. Из города привозила ребятам гостинцы. На лето брала работу: переписывала и перепечатывала тексты одного известного писателя-историка. И свой заработок отдавала в до-

ход семьи.

— Лапша... а от Тверетиновых вон рассольником тянет... с потрохами...

После завтрака все расходятся, и дом пустеет. А ведь прежде он не казался пустым? Позапрошлым летом Валя как-то по-иному увидела свою семью. Несуразную, иногда комически нелепую мать, смурного отца. Отец выглядел напрочь уставшим, погасшим, перегоревшим. Но не жаловался Вальке, не строжил младших. Хотя, кажется, с трудом сносил присутствие супруги.

— Старуха Леве и ихняя певичка... докторша-то...

И Валька почему-то с трудом сносила материно присутствие в последнее время. А раньше не замечала бесконечную её болтовню, вечные пересуды с почтальоншей, бесцельный треп про дачников. А раньше? Как бывало раньше? Еще до института, до жизни в Москве, она не замечала всей семейной бестолковости и пустоты.

— Телеграмму... и Аську Полуэктову...

До Валькиного слуха вдруг очень отчетливо долетели обрывки последних слов, вызывая недоумение и радость.

— Какая телеграмма? Ася приезжает?

Фофанова сняла кастрюлю с огня и принялась разливать половником лапшу в алюминиевые миски, заново повторяя новости от почтальонши, молошницы и продавщицы в лавке. Она давно привыкла, что в семье ее слушают вполуха — ученые, а кушать все ж просят. Из рассказа матери Валентина поняла, что почтальонка носила телеграмму в «Пенаты», кто-то приезжает к Леве. И ладно. А вот новости об Аськином приезде она очень обрадовалась. Однажды Валька без разрешения взрослых утащила худенькую девочку-подростка, будто фарфоровую куколку, купаться на Македонку. Только новая знакомая не сказала Вальке, что не умеет плавать. Ох, и наделали они тогда переполоху на пляже. Потом сидели завернутыми в солдатские одеяла у лодочника на причале, пили чай, изживая страх и изображая из себя больших, самостоятельных, а в душе предвосхищая последствия, когда слухи о тонувшей и спасавшей, переходя из одной дачи в другую, достигнут домов Фофановых и Полуэктовых: на комариных крыльшках, на веслах, на сумке почтальонши, спицах колес.

В четверг Ася Полуэктова приехала в Малаховку на электричке. И вместе с «вечерними отцами» шла через лес на свою дачу. Еле уговорила папу отпустить ее на дачу раньше. Отца в городе держали дела еще два-три дня. Асе жаль было каждого дня, с каким таяло лето, надоело в каменной столице и не терпелось встретиться с Валентиной. Поэтому, не дожидаясь служебного выезда, она отправилась на Казанский вокзал. Отец с тех пор, как овдовел, никуда не отпускал от себя единственную дочь. Уход мамы Ася оставила пока, до времени, как непрочитанный манускрипт. Перевернула лист тайнописью вниз. Но теперь, по прошествии трех лет, все еще не находила в себе сил вернуться к тому злополучному слову их жизни. Когда-то подростком Ася мечтала, будь у нее волшебная возможность заглянуть в прошлое, она непременно спросила бы то самое Прошлое о неразгаданных тайнах. Где спрятана Янтарная комната? Кто убил Кирова? Стреляла ли Фанни Каплан в Ленина? А теперь к страшным вопросам добавился еще вопрос о маме.

Когда Ася добралась до своей дачи, уже стемнело, было немного жутко входить в пустой дом. Но она увидела, что сегодня дом уже открывали. На террасе ей оставили хлеб, молоко и клубнику в миске, а сбоку у двери сложили уголь брикетами на случай холодных ночей. Клубника с молоком — райское блюдо! Спасибо. Муж молошницы приглядывает за их участком, весной прививает деревья, осенью постригает ветки кустарника, сжигает палую листву и собирает не снятые с дерева яблоки. Этим вечером слева теплом желтели окна Тверетиновых, прямо напротив горело огнями терраски «графство Митрича» — дом Карзинкиных. Чуть на взгорке слева светился сквозь сосновый частокол и колонны зал в три окна в «Пенатах». С Асиного крылечка не виднелись только окошки домика коменданта. До завтра, до завтра, милая Валечка, доброй ночи тебе.

Утром молодая хозяйка дачи пробудилась с улыбкой. Еще даже не открыв глаза, почувствовала, что луч щекочет ей губы, и что-то защекотало внизу живота, между ног. Захотелось натянуть простынь до подбородка, как будто происходит с нею что-то стыдное. Чихнула. Значит, будет ведро. Хороший сон под утро, ликующее солнце в окна, зычный голос молошницы и клекот жестяных бидонов бок о бок — вот оно, маленькое дачное счастье. Еще, кажется, слышна трескотня кукурузника над крышами. Летчик, летчик, покачай крылами на удачу! А ночью все-таки было жутковато, особенно когда ощущение чужого присутствия, шаги за стеной пробудили от только что навалившегося сна. Сердце теннисным мячиком-попрыгунчиком колыхалось под багистом сорочки. Но потом Ася успокоилась тишиной. Никого нет. Никого и не было. Решила на следующую ночь позвать ночевать к себе Валентину. И снова уснула.

Нет, это точно кукурузник, да как низко. Аська выскочила в ночной сорочке на терраску. Долго жмурилась, прищуривалась в небо. Разглядела-таки стрекозу над мохнатыми щетками крон. И так весело сделалось, так хорошо в ожидании первого дачного дня. Надо сбегать к Фофановым, они рано поднимаются. Ася прошлепала обратно босиком по полу. Но что-то заставило обернуться. На столе открытой террасы посуда вчерашнего позднего ужина была аккуратно расставлена и пуста. А она точно помнила, что легла, не допив молока, не доев клубники.

Для каждого дня было довольно своей заботы.

У Леве готовились к открытию дачного сезона. Прежде отмечали намного раньше, в мае. Нынешним летом не задалась традиция, потому только теперь объявили праздник. Вера и Валерия навезли из города бумаги белой и цветной под афиши. Краски собирались заполучить у Виктора. Для костюмов натаскали тряпье из сундуков Тверетинных, Полуэктовых и Леве. Днем Ия оживлялась и задорно участвовала в репетициях, стараясь, устав за день, крепче уснуть к полуночи, когда объявлялся на дачах муж. Тверетиннов-старший заглядывал в комнату к жене, стоял над спящей несколько минут, словно проверяя, не притворяется ли, и закрывался в своей комнате, даже не подходя к постели сына. Иногда на даче вместе с ним оставались ночевать его порученцы.

Из-за репетиций Валя на время отложила свою работу по переписке, нагоняла ночами. А днем они с Асей тоже с радостью включились в общее веселое дело. Всем делом заправляла Мара. Каждому она поручала его часть, и весь замысел полностью держался в хрупких кулачках режиссера. Чуть повеселела и чухонка, хотя считала домочадцев чудачками, а их жизнь на дачах праздностью, баловством. Но все же самого доктора она уважала за его труд, а к остальным уже привязалась за три лета, не сознавая того.

Заходила поглазеть на развлечения и Прасковья Захаровна: «Благодать вам и мир да умножится». Присаживалась возле кресла старухи Леве и с четверть часа кивала головой под непрекращающийся монолог матери доктора. Старуха даже летом куталась в тяжелую, шелковую японскую шаль, сурьмила брови, завивала бровки, накручивая их на папильотки, чего не принимала для своего возраста тверетиновская нянька. Обычно старуха Леве не приветствовала нянькины визиты, не считала нужным вступать с ней в разговоры, но когда находилась общая тема, вот как сейчас: обсуждение и осуждение затеянного Марой, — она откладывала с колен журнал «Нива» за 1911 год и снисходила до собеседницы.

— Резвятся, девоньки, — умилялась Прасковья Захаровна.

— Балаган! — отрезала старуха, плотнее закутываясь в шаль. — Комедианты! В Суоми, в Суоми...

Прасковья Захаровна, нарядившаяся по случаю визита в павлово-посадский платок, молча выслушивала жалобы, кивала головой, а сама упивалась тем молодым задором, той радостью живою, что радугой переливалась между девушками на поляне: вот бы так Иечке порезвиться, а то все сварятся. Вера, Валерия, Ася и Валентина раскладывали на траве полотно ткани, резали на полосы, вязали банты, делали занавес и костюмы, хохотали, дразнились, манерничали, изображая подиум. Одна запевала, другая подхватывала.

Старуха оттопыривала указательным пальцем щеку и показывала Захаровне глубоко запрянтанный золотой зуб.

— Видишь, голубушка, этот бюгель? Париж, 1910-й год.

Нянька верила, цокала языком. Хотя такие коронки ставили и в подвалах Одессы.

Немного печальная Мара на ступенях крыльца что-то записывала в тетрадку и притворно грозилась пальцем девушкам. Предвкушение веселой затеи перебивали мысли нерадостные.

— Не твоя партия! Не ври!

Рядом важно ходили Борисик и Янек, встречали, попадались под руку, норовили стащить яркие ленты для своих подружек. Их гнали, но они все не уходили, потому что из-за забора на происходящее пялились Фофанчики — Нинка, Тоня и Пашка с Петькой. Фофанчиков пока не допускали на участок, они предполагались в зрителях в день премьеры. Девушки звали Виктора спуститься со второго этажа и помочь с выбором красок. Он сперва сказался занятым, но после не выдержал задора лужайки и присоединился к общему веселью, ведь в кутерьме мог случайно дотронуться до рук, которые хотелось целовать.

Беспокойства Мары никто не замечал. А если кто и подметил мимоходом, то не силится разгадать его причины. Мара ставила на дачах «Кармен». Она перекроила сюжет и приблизила либретто к реалиям. Но все равно старалась выдержать линии. Грусть ее исходила не от замаха замысла или беспокойства по поводу воплощения. Весь этот «балаган» делался ради Феликса. Хотя бы слегка развеять его и отвлечь от того пагубного

настрою, в который на днях неожиданно для себя был ввергнут доктор. Собственно, случаем, так ошарашившим, муж поделился сразу по возвращении из города, еще во вторник. Как только сошел на станции, почти бегом, не замечая грибных тропок, примчался в «Пенаты» и слег. Тогда супруги вдвоем закрылись вечером у себя наверху и долго не выходили к чаю. И все же Мара железной волей подняла доктора, поставила на ноги. Выйдя, оба поразили домочадцев бледностью, натянутыми улыбками, плохо скрываемым беспокойством. Но поверх необычного на отяжелевших лицах родителей проступила печать обоюдного решения, давшего силу опоры.

В течение всей своей долгой практики доктор принимал пациентов на дому, за редким исключением выезжая по вызовам. Отдельного врачебного кабинета он не имел. Гомеопатия в различные периоды своего развития находилась в разных отношениях к официальной советской медицине. То считалась псевдонаукой, почти как средневековая алхимия, то вполне имеющей право на сосуществование ветвью традиционной медицины. В тот раз, во вторник, как и обычно, пациенты подходили по времени и при накладках попадали в кабинет к доктору уже в порядке очереди. Встречала гостей и следила за порядком жена дворника — Анисовна, лечившаяся у Феликса Евгеньевича от увеличения печени и часто помогавшая семейству Леве с уборкой. Доктор отпустил уже пятого пациента и собирался проехать к художественному салону на Никольской, все никак не мог называть ее улицей 25-ти лет Октября. Виктор просил прикупить пару туб глауконита, да и в аптеку Феррейна надо бы заскочить. Вдруг Анисовна запускает в зал шестого, непредвиденного. Шестым оказался пузатенький улыбчивый человечек в сером костюме «Москвошвей». Он смущенно сидел на краешке стула, пыхтел, вздыхал, обмахивался шляпой, клял жару, но так и не расстегнул ни одной пуговицы пиджака или сорочки. А на внутренней стороне шляпы все мелькала потная окантовка, темно-коричневого цвета там, где промокнулась потом с лысой головы. Из всего ёрзанья Феликс Евгеньевич понял только, что родину любить надо, что она тебя любит и щадит. Пока. Что долг свой исполнять надо. Речь шла о Пятом пациенте, с которым Шестой четверть часа назад словоохотливо обсуждал гомеопатические преимущества, сидя в полумраке докторского коридора.

После ухода Шестого у Феликса Евгеньевича еще какое-то время перед глазами порхала шляпа с волглым кантом. И когда он вдруг подскочил с дурацким совершенно не задаваемым вопросом: «Милостивый государь, а чем обязан, собственно?» — коридор был пуст, входная дверь притворена, ни серого костюма, ни жены дворника. И вот с тем дурным привкусом в глотке: «Водевильчик, однако», — доктор возвращался в Малаховку. К Маре, к Маре, непременно поделиться и спросить, ну, как же вот так можно? Как? Разве он подал повод? Нет, права все-таки мама, права со своими давними грёзами по поводу Суоми.

Валентина наконец-то сдала писателю-историку всю работу полностью, получила деньги под расчет, встретила в общежитии с девчонками из группы, еще не разбавившимися на каникулы. И такие приятные мелочи слегка сбили тот грустный саднящий настрой, что подспудно мучал. Хотела поговорить с писателем на одну странную тему, но он сказался очень занятым, отложил разговор до следующего воскресенья, когда, возможно, появится новый заказ. И вправду, к нему тут же пришли гости, прямо в прихожей громко начавшие декламировать молодыми задорными голосами что-то вроде: «Взгляни, как медленно, как надменно, степенство северное храня, идет торжественная замена пространства ночи пространством дня...» Дольше Валентина не задерживалась. Распрощалась. Но стихи запомнились и долго звучали в ней. Решила расспросить о них в следующую встречу. Выпила на углу квасу из бочки и отправилась в «Детский мир». Фофанчики ждут гостинцев.

Проведя два дня и две ночи в городе, теперь возвращалась первой утренней электричкой в Малаховку, беспокоясь об Аське, напуганной какими-то ночными страхами. Хотелось разбудить подругу, еще не заходя домой, забраться к куколке голенькой в кукольную постель, накрыться с головой простынею, обняться, прижаться, и как это не раз бывало у них маленьких, говорить, говорить друг другу о своих страхах и мечтах, придумывать истории. Аськина постель всегда оставалась идеально белой, мягкой, но по дачному узкой. Они вдвоем едва умещались. Но теперь перед калиткой стояла кремовая «Волга». И Валентине расхотелось заходить в дом — Полуэктов приехал.

Аська выбежала навстречу, окликнутая через окошко водителем. И девушки помчались на Македонку. Поселок еще спал. Еще переливалось парное молоко из ведер в бидоны. Еще не вылетел лётчик на трассу. Еще дрыхли Фофанчики. Девочки вышли на низкий берег в стороне от купальни, где обычно входили в воду Ия Тверетина и сестры Леве. Они вошли с пологого края реки, с сырого песочка. Молочные голые тела так хороши были на фоне серебристого разлива воды, что казалось, это русалки линяют чешуйками, режутся на поверхности и серебрят воду. Серебро слепило глаза. И один

человек свернул от берега, чтобы не ослепнуть светом с реки. Он уходил в рощу, будто бережно неся на руках одну из русалок, но не смея опустить глаза на ее голое, холодное к нему рыбе тело.

На высоком берегу плавчихи выбрали пятно слабого солнца и улеглись на траву в его круге, пальцами ног доставая еще непрогретый рыхлый песок. Аська гордилась, что уже на одном дыхании, пусть то по-собачьи, то по-лягушачьи, переплывала речку. Правда, за это время Валька успевала сплавать туда и обратно и еще понырять на стремнине.

— Где ты была? Целых два дня?!

— Сдала работу. Повидалась с общежитскими. В городе пыльно...

— А тут у Леве гость. К Маре приехал племянник откуда-то с Севера. Красавчик. Геолог. Сестры, кажется, влюбились.

— Ой, кажется, кроме сестер еще кто-то влюбился?..

— Нет, что ты... Но он такой необычный... как врублевский Демон. Но не думай, он вовсе не суров, не грозен. Он очень обходителен и мил.

— Помнится, прошлым летом...

— Брось, Валечка... Виктор — душка. Его невозможно не любить. Но тут другое...

Лёня...

— Лёня? Уже любопытно...

— Да, Леонид... он завоевал расположение абсолютно всех в «Пенатах».

— Это за два-то дня?

— Не веришь? Старуха поменяла черную шаль на розовую кисейную косынку. Чухонка выучила рецепт форшмака и рыбных муромских пельменей. Верочка с Лерочкой поругались и тут же примирились. Все тащат Лёню в свои игры, то им крокет, то ручеек... Борисик с Янеком вообще ходят за ним, как за вождем племени. Мне кажется, весь переполох Леонида слегка раздражает.

— А Мара? А Виктор? А что сам доктор?

— Доктора почти не видно эти дни. Он вроде бы и на даче, но не спускается сверху. Виктор, ты знаешь, он же отшельник. Кажется, Леонид пытался с ним сблизиться, но не вышло. А Марочка озабочена. Ты будешь вечером на спектакле?

— Конечно.

— Я — Микаэла! Такое грандиозное событие, пол-Малаховки будет в «Пенатах».

— А ты считаешь, что Виктору ничто не интересно вокруг?

— Виктору нужна только его неуловимая муза. Лучше бы Эскамильо играл Леонид. Вот у кого получилось бы... Внешность Чарльза Гарольда. Нет, Печорина.

— Печорин и Эскамильо? Что с тобой, моя подружка?

— Ой, просто волнуюсь перед спектаклем. А как «Пенаты» гудят...

— Такая роль, и глаза грустные?

— Просто ночью папа приехал. Болеет. Теперь дня на два, на три, после захочет меня увезти. А я не хочу уезжать!

— Значит, останешься.

— И не хочу видеть его на спектакле...

— Поплыли?

Спектакль удался. Все, чего опасалась Мара, не случилось. Публики набралось так, что еле вместили. Актеры не сбились с роли. Зрители дружно поддерживали. Помимо любовной коллизии, удалось вставить злободневную малаховскую тему. Все поняли, о чем разговор, и оборачивались на задние ряды, ища реакцию коменданта. Но тот отрешенно улыбался и глаза прятал. Доктор был в ударе в роли Хозе, и у них с Марой высекалась искра испанской страсти, отчего первые ряды обмахивались программками чаще, чем галерка. Старуха Леве гордилась успехом сына. Борисик и Янек радовались суете, суматохе и даже временно перемирились с наряженными в белые рубашки по случаю праздника Петькой и Пашкой Фофановыми. Более благодарного зрителя, чем Леонид, казалось трудно найти. Он упивался всем происходящим в теткинском доме, как будто подмосковное солнце после северных широт отогревало его зноем Испании. Леонид громко хлопал и бравировал, словно заправский клакёр. Хотя сегодня актерам не требовалась поддержка.

Публика каждый год бурно встречала спектакль от семейства Леве и на этот раз была подогрета его долгим ожиданием. Но больше всех Мару поразил Виктор. Ни на одной репетиции он не выдавал такого куража, такой чувственности. Сегодня он играл страстно и самозабвенно, как будто бы отыскав в публике кого-то самого важного, и произносил свои реплики лишь для одного сердца. Только вот Микаэла никак не могла поймать взгляд Эскамильо в их диалогах. Хотя Асечка оказалась на высоте и ее актерскую игру Марина Артемовна, как режиссер, отметила. Есть у девочки талант, в отличие от Веры и Валерии, не раз прежде игравших в домашних спектаклях. И Ася счастливо улыбалась, ощущая внутри то не будничное чувство, какое возникает, когда на тебя

смотрит множество глаз и затаив дыхание ждут твою реплику. Ты попадаешь в точку, в эпицентр ожидания, зал разом ахает после твоего слова и снова делает осторожный вдох. А выдохом его владеешь уже ты — актер. Она просила папу не приходить. Но все же где-то под конец спектакля увидела стоящими в стороне у забора отца и его водителя. И то уже не огорчило, не задело.

Виктор действительно играл на подъеме, он нашел глаза, которым говорил о себе от себя, не от Эскамильо. И поначалу ему показалось, что глаза вобрали тот свет, только им и причитавшийся, потом будто изумились, всмотрелись заново в него, усомнились, захотели поверить, а потом вдруг они совсем померкли. Он видел их широко открытыми, но там не оказалось света ни для него, ни для кого-то другого. Виктор чуть не сбился, заметив пустое место на скамье в четвертом ряду. Но тут случился занавес и гром аплодисментов, явственной всех в котором ощущалась поддержка Леонида. Феликс смыл гримом пыль городской печали. Доктор раздухарился общим настроением и снова кричал Маре свое любимое: «Вы комик, гражданка Мокричкина!»

Мара ликовала. После такого шумного успеха не захотелось расходиться, да и по традиции припасли угощение. Зрительские скамьи и стулья убрали от летней кухни, только что бывшей сценой, перетащили их в тень к сливам. Теперь на кухонных подмостках выступала чухонка. Она подавала на длинные столы загодя заготовленные блюда, и живая цепочка из взрослых и детворы с удовольствием передавала яства и напитки, громко выкликая названия: «Кисель из ревеня! Пирог с клубникой! Варенье крыжовенное! Грибочки маринованные! Огурчики малосольные! Капуста по-малаховски!»

Тверетиновская нянька и своих пирогов прихватила. Зрители тоже приходили не с пустыми руками. Застолье вышло шумным. В сумерках даже песни попели: «Вечерний звон», «Подмосковные вечера», «Грусть и тоска беспросветная». Погода стояла мягкая, перламутровая, не отпускающая с полян, берегов, рожиц в дома, не дающая захлопывать окна и запирать двери. Дом «Пенатов» с раздутыми со всех сторон парусиновыми шторами походил на улывающий фрегат, Летучий голландец под парами. Казалось, вот сейчас он оторвется от кустов жимолости, подпирающих окна первого этажа, от ступенек, сбегавших в клубничные грядки, от каланчи-груши, достающей до второго, и воспарит в лазоревом малаховском небе. Сумерки осели, смолкли песни, соседи разошлись. Решено было оставить столы и лавки на лужайке неразобранными до утра, когда вдруг раздался сдавленный женский крик. Солнце тотчас зашло за кроны сосен.

Кричала Мара, вошедшая в дом зажечь лампы.

Теперь Мара уткнулась в грудь супругу и не оборачивалась на разруху за спиной. Точно также уткнулся в грудь чухонке Борисик и задрожал плечиками. Под террасой на лужайке стояла, держась за перила и не в силах подняться по ступеням, мать доктора. Она сердито взвизгивала: «Что там? Что там? Да поднимите меня, чёрт вас возьми! По миру пустили, по миру!» Её не слушали. По второму этажу дома бродили Леонид, Виктор, Полуэктов с водителем и комендант. Первый они уже осмотрели. У проема окна стояли в обнимку сестры и Ася. Полуэктов отдавал четкие команды. Художник, гость, комендант и водитель выполняли их, но все бесполезно: дом обокрали. Наверху никого не нашли. По-видимому, вор задержался недолго, пробежался наспех. Теперь в свете зажженных ламп порхали перья из вспоротых подушек и матрацев. Пока не удалось подсчитать убыток и обнаружить все пропажи. Заметили только отсутствие серебряного портсигара на столе в кабинете доктора. Гомеопат не курил, но вещь ту семейную — дедову — всегда держал при себе. Род деда корнями уходил в род лейб-медика Екатерины второй, и дед как бы считался крестным Феликса в науке лекарства. Старуха Леве снизу голосила о какой-то своей шкатулке, но больше чертыхалась и так смачно, что к ней боялись приблизиться даже внучки. Сверху крикнул Виктор, что шкатулка цела.

Низкие голоса и тени блуждали за обыскивающими дом мужчинами. В вечернем свете ламп летящие майским снегом перья создавали фантазмагорию, которая пугала теперь женщин. Мара зажмурилась глазами: казалось невыносимым представлять, как чужие похотливые руки касались ее постели, ее панталон и лифчиков, пилочки и станка дамской бритвы. Ей несносно было чужое присутствие в доме, ее замке, где не затворялись двери даже на ночь. Её неприятно задевало фиаско вслед за театральным триумфом.

Никто не хотел оставаться в доме на ночь. Распределились так. Борисика нянька уложила с Янеком, чему ребята несказанно обрадовались. Мару забрала к себе Ия и уложила ее в своей спальне. Веру и Валерию устроили в гостевой Тверетиновых. Сама Иечка улеглась под ватное одеяло к Панюсе, как в детстве: нянечка круглый год спала под ватным. В «Пенатах» доктора уложили на открытой веранде летней кухни под верблужьим одеялом. В одной из двух комнатенок кухоньки устроили на ночлег его мать. Старуха Леве, ворочаясь на узком кухаркином топчане, горевала о своей постели: о,

Суоми. Она еще не знала о том ударе, который ждал ее утром. Чухонка никак не могла заснуть на сундуке возле плиты, и ей чудилось, будто из-за тонкой перегородки ее все время выкликают колдунья Лоухи.

Виктор и Леонид взяли не спать до утра в ночном дозоре. Асю увел отец. Не знала о произошедшем только Валентина, не дождавшаяся окончания спектакля. Петька поцарапался, влезая на забор, разодрал и закровянил выданную новехонькую рубашку. И Валя увела детей домой. Когда комендант вернулся, дверь в комнату старшей дочери оказалась заперта, и он прошел на кухню к жене.

Машину Тверетинова уже в полной темноте остановил водитель Полуэктова. Тверетинов трусцой пробежал в кабинет хозяина дачи. Переговорили пару минут. Сегодня Полуэктов не болен. Водители и порученец тоже перекинулись двумя словами по поводу произошедшего. Домой Тверетонов вошел, уже будучи в курсе события. Заглянул во все комнаты, стараясь не хлопнуть дверьми. Не замечая вкуса, поел на кухне холодный рассольник и кулебяку с мясом. Отпустил машину и улегся у себя в комнате, кривя губы: «Слишком оперетка». Раз за разом что-то мешало поговорить с женой, разобратся в её капризах. Он догадывался о причинах отчуждения. Готов был взорваться, но копил до времени возмущение. Чёрт знает, что творится. Живешь в чудовищном колдовстве, истово родине служишь, ждешь понимания дома. А тут от него самого воруют лицо, прячут глаза, вскакивают из-за стола, замолкают. Что за барские привычки — замалчивание? Они, видите ли, выше склок и брани. Да еще нянька, кулугурка, нагнетает. Не обходится тут без нее, раскольницы.

Малаховка погружалась в сон. Гудело комарьё. Гасли огни. В поселке на ночь глядя обсуждали спектакль, еще не зная о краже.

Часть III. СЛИШКОМ ОПЕРЕТКА

Утром Малаховка гудела слухами: у Леве дом обокрали, все вынесли, все до ложки серебряной, как говорится, «у дома куст, настоится дом пуст».

К следующей ночи все домочадцы собрались в доме. А день, тому предшествовавший, принес своей заботы и хлопоты. Стояли дни высокого солнца, неге его невозможным казалось противиться. А людям с солнечными зайчиками в крови и вовсе долгая печаль противопоказана.

Янеку позволили ночевать у Бориса. Мальчики твердо решили найти грабителя. Они вооружились лупой, стащили у доктора резиновые перчатки и играли во что-то вроде «Сыщик, ищи вора». Виктор с Лёней, запиная поглубже содержимое вспоротых матрацев и подушек, завязывая тиковую ткань узлами, перетаскивали несколько таких постельных инвалидов в дом коменданта. Один матрац вернули из починки чухонке. Чухонка после кражи почувствовала себя еще нужнее в доме. Она в положенное время подавала завтрак, обед, ужин, готовила плов и пекла пироги с щавелем, удивляясь, что и эти ученые люди так же в беде беспомощны, как неграмотные. Докторша совсем расстроилась, у нее все выскальзывало из рук и валилось на пол. Старуха стонала и была. Доктор со своими пилюлями метался между ними. Девочки спорили, читать ли вслух Степняка-Кравчинского или Горького. И все же взяли декламировать по ролям пьесу «Дети солнца». Они хотели утешить мать и увлечь её новой постановкой. Виктор вдруг вдохновился камнями. Натаскал с Македонки булыжников, намыл их, разложил на подоконнике сохнуть густо-красный кремень, мерцающий кварц. Собирался писать внутреннюю силу камня. Мальчики сначала увлеклись новой затеей художника, но быстро охладели и вернулись к сыщицкой работе.

С утра заезжала на велосипеде почтальонша. Отдала «Мурзилку» и «Известия», но не смогла разговорить чухонку. Только сама рассказала, что в день спектакля еще обокрали лавочку у станции, унесли пол-ящика водки и упаковку консервов «Бычки в томате». Делом занимается местный участковый. Такого ни в одно лето не случалось. Бродит зверь по поселку, бродит, леший.

Ася Полуэктова осталась довольна собой — она отстояла свое право остаться на дачах. Утром проводила отца в город. Сумели не рассориться. Да и папа не расклеился, ему не понадобилось взбадриваться после ночных событий, он уезжал на службу подтянутым, собранным, бодрым, хотя и слегка беспокоящимся за дочь. Заехал к мужу молошницы, попросил присмотреть повнимательнее за его домом, рассказав о ночных событиях у Леве. Ася упивалась вчерашним актерским успехом.

Едва проводив взглядом подсакивающую на ухабах бежевую «Волгу», Аська поспешила в противоположную сторону, к домику коменданта. Не терпелось обсудить с Валентиной произошедшее накануне. Но, к своему удивлению, так рано она уже не застала Вальку дома. Оказывается, та первой электричкой уехала в город, оставив записку родителям. Мать уже не спала, когда старшая дочь на городской манер уклады-

вала гриву волос на шее. И Валя видела, что мать проснулась. И все же оставила записку, ни с кем не желая разговаривать.

Разочарованная Ася поднялась по крутой лестничке к «Пенатам», нависающим с пригорка над округой, разузнать, что там у них. Совсем не хотелось теперь сидеть дома. Ноги сами бежали по ступеням так бойко, что это становилось неудобным. Перед калиткой Ася заставила себя замедлить шаг и, надломив ветку белой сирени, вошла в усадьбу. Кресло старухи пустовало на террасе. Сверху, по-видимому, со второго этажа доносился плач. Из трубы кухоньки шел ровный дымок. Никого из домочадцев не было видно. И только из сада по боковой дорожке навстречу Асе шел улыбающийся Леонид. Они встретились на тропинке, поговорили с минуту и повернули вдвоем обратно к калитке. В то же время одно окошко первого этажа сердито стукнуло створкой, а в кухоньке у чухонки вдруг подгорел лук.

В город Валентина съездила зря. Она так и не разыскала Константина Наумовича. И соседка не знала, куда он подевался, и завсегдатаи ассамблеи у подъездной лавочки оказались не в курсе. Уже трижды напилась квасу из бочки. Истоптала перекресток вдоль и поперек. Отлучилась только за мороженым и вишневой газводой, очень уж жарко. Снова с надеждой забежала на третий, трезвонила в дверь. Но все тщетно. Писатель, видимо, отправился по неотложным делам. Ночевала в одиночестве в общежитии. С утра забежала снова на Каланчовку. Тишина за дверью подсказывала, что хозяйка уехала надолго. Не вышел разговор. Мостовые блестели после грозы, разразившейся в столице душной ночью. После жизни на дачах Москва всякий раз казалась отчужденной, неудобной. Валька как заново училась быстрому шагу москвича, умению вскочить на подножку трамвая, пролезть без очереди. После дач терялась в водовороте, как впервые попавшая в большой город провинциалка. А во время учебы и сессий не могла вырваться домой, в Малаховку. И приезжая туда после долгого перерыва, вдруг ощущала тесноту дома, замедленность течения поселковой жизни. Теперь девушке предстояло самой, в одиночку, решать свою трудную задачку. И Москва не поможет. Она оставила записку в почтовом ящике и быстро зашагала к Казанскому.

Мару пригласила на чай Ия Тверетинова. Она усердно старалась отвлечь соседку от пережитого расстройств. Мара уже не так печалилась, она вообще не умела долго грустить. И теперь женщины обсуждали два события: обморок старухи Леве и веселые глаза Аси Полуэктовой.

Пока у Тверетиновых чаевничали, комендант Фофанов, очень кстати, привел в дом Леве участкового. Розовощекий дебелистый страж порядка, обходя комнату за комнатой в «Пенатах», пребывал в большом смущении от интереса к своей персоне. За ним по пятам шли два юных следопыта и Виктор. В некотором отдалении за происходящим наблюдал хозяин дома в вельветовой домашней куртке, несмотря на жару, и с сеточкой на волосах. Он тревожно косился на калитку, хоть бы Марочка еще задержалась в гостях. Вера и Валерия купались на реке, их сопровождал Леонид. Участкового завалили вопросами. Ничего не спросила у него только старуха, лежащая в постели с компрессом на голове. Она следила пристальным взглядом за передвижениями служивого, но не выдавала из себя ни звука: смолodu не доверяла полицейским.

Показав на разоренные полки шкафов, с теперь уже вновь уложенными вещами, на подушки и матрацы в детской, в девичьей, в спальне второго этажа, участкового увели в кабинет доктора, осматривать стол, откуда пропал серебряный портсигар. Здесь милиционер все возвращался взглядом к книжному шкафу, отблескивающему позолотой с корешков книг, к жестяным банкам и стеклянным колбам гомеопата, помеченным латинскими буквами L, X, Z, в зависимости от дробности помола взвеси. Ушел блюститель с неуверенностью на лице: казалось, бычки в томате он еще отыскать сможет, а вот портсигар и покусившегося на «Пенаты» — вряд ли. По крайней мере выражение его лица не давало никаких обещаний потерпевшим.

Мара теперь рассказывала Иечке, как успокоенную целостностью шкатулки старушку усадили на постель, как бережно она перебирала содержимое на самом дне — остатки сохраненной роскоши, то, что уцелело за годы двух войн и двух революций. Старуха выглядела вполне умиротворенной, и присутствовавший в комнате сын собирался уже поцеловать на ночь мать, как вдруг старушка странно заёрзала. Она сидела с прямой спинкой, держала цепкими пальцами на острых коленках шкатулку с откинутой крышкой, возила тазом по постели, при этом букли ее раскачивались из стороны в сторону все с нарастающей скоростью. Мать стряхнула шкатулку с колен, откинула одеяло и простынь в ногах и стала ощупывать матрац руками. Все убыстряющийся взлет буклей сопровождался ужасом в расширяющихся зрачках. И старуха-мать ровненько с прямой спинкой завалилась на бок, прямо в руки сына-доктора. Очнувшись, она уже молчала, изредка начиная подвывать и постанывать.

Чай пили с вареньем из жимолости свежего урожая и с прошлогодним вишневым.

Из поспевшей клубники варенья еще не варили. Спелые ягоды опускали в чашечку для аромата. Нянька, изредка заглядывая на веранду, радовалась, что вчерашний холодный курник пришелся ко времени и что Иечка улыбается, подливая в чашку гостя заварки с перчаткой мятой.

Об Асе приободрившаяся Мара рассказала лишь то, что вечно печальная девушка вдруг в нынешние дни воспрянула, стала раскованнее и явно взрослее. Еще на репетициях Мара почувствовала рядом с собой женщину, молодую, чувственную, от которой будто бы исходили плотский задор и манкость. Столь непривычные открытия в девочке, которую знала почти ребенком. Обе вспомнили о произошедшем с матерью Аси, о Полуэктове, погрузнели, прятали глаза. Но тут снова пришла на помощь нянька, поднесла из буфета графинчик розового стекла с черноплодной наливкой. Очень ей хотелось погреться возле разговора, но напроститься не решилась. А Ия шептала гостю про старушку: «Будто с фаворскими кругами внутри родилась, кроткая, светлая моя», — но за стол не позвала, боялась нарушить откровенность гостя.

Мара посетовала, что Ася и ее старшая — Вера — кажется, имеют предметом влюбленности одного и того же мужчину. И в самой Маре борются два чувства: некое соперничество на стороне дочери и желание счастья опекаемой ею соседской девушке. Ия Тверетинова принялась расспрашивать Мару о племяннике, не признавшись, что и ее сердце учащенно бьется в присутствии Леонида. Но обе они не знали, что внезапная ночная гроза уже провела свою ломаную линию, сблизила двух молодых людей, весь день пробродивших вдаль от дач: на берегу реки, в роще, у ключа. И ледяные ливневые струи, мгновенно промочившие насквозь одежду, оправдали смущение девушки под накинутым пиджаком взрослого чужого мужчины.

Несмотря на собственный интерес, Ия Тверетинова тоже встала на сторону Асечки, потому что такие, как Полуэктов, как Тверетинов, — разрушители, губители, истребители, — обречены на одиночество. И им с Янеком необходимо спастись. Только она еще не придумала как. И Леонид казался ей мужчиной совсем иного склада, свободным, открытым, не отягощенным ночными тайнами заплочных дел мастеров. Уже в сумерках Мара с Ией покачивались в гамаке, накрывшись одним пледом, и, тихо-нечко, но точно выводя, затянули «Маруся отравилась». Нянька заслушалась у окошка своей светелки. И она когда-то пела тот романс. Отцветала черемуха, дурманила голу. Но холода почему-то не наступали. Все холода — впереди.

Ася снова ночевала одна. Валька еще не вернулась в поселок после столь странного исчезновения. Да, собственно, часы с полуночи и до рассвета трудно назвать сном. День сложился каким-то чудесным. А когда двое не размыкающих руки затемно возвращались в поселок, то на террасе вновь стояла миска с клубникой и кувшин с молоком. Спасибо — Аськин поклон в сторону окошек молошницы. В доме нашлось еще много вкусной городской еды. Но Леонид с удовольствием ел любимое блюдо с детства — клубнику с молоком и кормил ею Аську с ложки. Их ноги под столом соприкасались и переплелись. Их руки не желали расставания. Их глаза искали взгляд друг друга. Их губы пахли клубникой. Как будто бы сегодня жизнь создала какой-то особый круг для двоих, разомкнув который, ты прервал бы саму жизнь.

И все же Ася сумела расстаться, захлопнуть дверь и не впустить гостя. Она прямо сказала ему — нет. Он долго еще сидел на ступенях. Был уверен, откроет. А когда она, переговорив с портретом мамы, мысленно оправдав себя перед Валькой, решилась открыться, на ступенях никого не оказалось. И Аське стало стыдно за малодушие. Она укрылась в своей кукольной кровати простынейю до подбородка и принялась думать, что же за день сегодня ей выпал. Долго не спалось, потом, кажется, задремала, потом очнулась, захотела пить, задрожала, задремала снова. А к утру разхворалась. Слегла, и встать не было никаких сил. С рассветом над домом кружил кукурузник, разворачиваясь на обратный курс к полям. Но даже летчик сверху не видел, что кому-то в доме под крышей свежего сурика очень-очень плохо сейчас.

Обнаружила больную Валентина, заглянувшая к Полуэктовым сразу по пути со станции. Валька много передумала за ночь в общежитии и по дороге в электричке. Набралась решимости, намеривалась поговорить с доктором. Но прежде хотела увидеть Аську и поделиться с ней. Когда Аська металась по постели, сминая горячие простыни, в бреду звала маму и разговаривала вслух с Леной, утреннее решение Вальки о разговоре постепенно ослабевало. Она с тревогой и недоумением взглядывалась в подругу: когда же ты выросла, куколка? И когда ты успела полюбить? Видела перед собой тело созревшей женщины, сейчас горячее, распластанное, но прекрасное даже в лихорадке. Влажные волосы кольцами липли к шее, губы сухо атели на бледном лице. Валентина смочила полотенце, укрыла им Аськин лоб. Сбегала за молошницей, отложившей развоз молока. Просила приглядеть, пока сама помчится к доктору Леве. Пришедший вскорости доктор намерил высокий жар. Предложил перенести больную в «Пенаты», что-

бы не оставлять ее одну в пустой даче. Но Валентина отстояла, чтоб им обоим остаться у Полуэктовых. Доктор прописал порошки и обещал навеститься вечером. Днем он уезжал хлопотать в город по одному неотложному делу.

Через сутки девочке стало лучше, она обрадовалась подруге, но тут же заметила какую-то едва заметную перемену во взгляде Валентины: откуда она знает? Она не может знать... А Валька разрывалась: сказать, не сказать. Разбить фарфоровую куклу или смолчать? И потом, выхаживая третий день подругу вместе с соседкой-молошницей и гомеопатом, Валя говорила о чем угодно, только не о той теме, которую обе замалчивали и запрягивали, как прячут обычно укромное, не для чужих глаз. Они обсудили спектакль и игру каждого, особенно Виктора. Но еще не знали о его новом увлечении — камнях. Говорили и о краже, но еще не знали, что из-за другой пропажи слегла старуха Леве. К ним заглядывала почтальонша, и Валькина мать приносила каши да оладьи. Приходили навестить Вера с Валерией, насмешничали, читали по очереди Северянина и Георгия Иванова, поднимали боевой дух заболевшей. Вера подробно рассказывала, как они с Леонидом помогают таскать особые камни Виктору с берега Македонки. Лера насмеялась над сестрою и дразнила ее воздыхательницей. Вера не отпиралась. И даже как будто немного бравировала. А Валька и Аська каждая по-своему недоумевали, почему здесь так и не появился Леня, камушками с Веркой забавляется.

Жарким утром, часу эдак в десятом, почтальонша оказалась сильно озадачена. Пропала ее клеенчатая сумка. Содержимого оставалось в ней мало. Срочную почту развезла еще в восьмом часу утра. Но кое-что из газет и квитанций еще требовалось раздать. Почтальонша оставила велосипед возле лавки. Обсудила с продавщицей засуху, беспомощность милиции, завоз синюшных цыплят 2-й категории и, сев снова на свой транспорт, отправилась на работу. Пропажу сумки она заметила, проехав две улицы. И теперь оказалась озадачена таким поворотом.

Янек и Борисик, наигравшись в сыщиков и индейцев, скучали у крокетной площадки. Идея новой забавы пришла сама собой. Днем в их укромном уголке под ракетой вдруг появилась записка. Она упала из-за забора прямо Янеку на шорты. Смерив зрительно траекторию полета, ребята бросились к забору. Янек попытался забраться наверх, Борисик — отыскать щель. Но заметить того, кто вступил в игру, ребятам так и не удалось. Друзья заспорили: один говорил — это Петька, другой — нет, Пашка, у него почерк лучше. Отыскали недругов. Фофанчики клялись, что ничего не писали и не подшучивали над «своими врагами». Не поверив на слово, проверили делом: заставили написать карандашом на старой газете: «Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре...» Сличили почерки, никуда не годится; Пашка и вправду хоть как-то различимо вывел, а Петька — накарябал, как индюк костяной лапкой. Потом прочли сотоварищам записку вслух: «Вечером на этом месте тебе будет дано секретное задание. Нужно доставить два важных пакета. Адрес будет указан. Твой тайный друг». Все загорелись секретностью. Братья решили выследить тайного друга. А пока они стащили у почтальонши ее сумку для писем. И преисполненные важности, разносчики писем принялись ждать вечера.

Досиделись до сумерек: Янек с Борисиком на участке под ракетой, братья в засаде за забором. И уже темнело, уже переключались голоса чухонки и тверетиновской няньки, звавших мальчиков ужинать. Мальчишки заматались, разочаровались, расстроились. Но Фофанчики пообещали не бросить поста. Тут по тропинке мимо забора пронесся велосипедист, давая громкие предупреждающие звонки. Петька с Пашкой едва успели отскочить в стороны. Погрозили кулаками в спину гонщику. А к сандаликам Янека в тот момент свалились два письма, сложенных конвертом. И как не хотелось отдавать такое дело в чужие руки, но Ян и Борис здраво рассудили, что поручение необходимо выполнить в тот же день. Не успев прочесть, они просунули конверты в щель забора. Распрошались с товарищами, пожали руки друг другу и отправились по домам под впечатлением новой захватывающей истории. А братья поспешили прямо по указанным адресам: №3 — дом Полуэктовых и №2 — дом Тверетиновых, куда только что вернулся один из компании.

Петька долго следил через окошко за старшей сестрою. Во-первых, на конверте написано; «Вручить лично в руки Асе П.»; во-вторых, Валька загнала бы его домой, едва увидев шныряющим под чужими окнами. Она бы подумала, что Фофанчики обирают соседские кусты с жимолостью или обчищают клубничные грядки. Едва Валька отлучилась через два участка к дому молошницы, как Петька подтянулся на руках и уселся на подоконник, едва не уронив кувшин с ромашками. Аська повернулась на шум и тут же в руку её попало письмо, а почтальона, доставившего депешу, и след простыл.

В то же время возле трех сросшихся сосен на обочине дороги шел сбивчивый разговор:

— Бегаешь от меня?

- Это ты прячешься. Совестно?
 - Я на виду. Не сходи с ума.
 - Зачем ты тут?
 - Мое дело. Может, я к тебе специально из города приехал... Скучаю.
 - Не прощу.
 - Не дури!
 - Руки!
 - Ну, ну...
 - Закричу.
 - Зачем, глупая? И так в поселке слухи про лешего ходят... Я ждал тебя.
 - И я ждала. Два года. Чтобы сказать, что ты ничтожество.
 - Ты про ту историю?.. Глупая. Дядька все напутал. И мы по-родственному разбе-
- ремся...
- Сбежал... А на меня все свалил...
 - Ну, так жива же, здорова. И даже очень...
 - Руки!
 - Не кричи так, горячая... Людей побудишь... Значит, избавилась ты тогда?
 - Не пришлось.
 - Ну, а пугала...
 - Пойди прочь. Не исчезнешь до субботы из поселка, шум подниму.
 - Дура! Что ты знаешь? Я уеду скоро. Вот доделаю кое-что здесь... и уеду. А может, еще и передумаю. Поселок богатый, дачки зажиточные, невесты на выданье.
 - До субботы тебе...
 - Угрожаешь?
 - Пусти! Больно...

Девушка вырвалась, оттолкнулась от тугого ствола сосны и бросилась бегом вдоль дороги. Мужчина еще постоял, откинувшись спиной на ствол, потом свернул в проулок...

Сложней оказалась задача у Пашки. Разделив с братом заданья и спускаясь бегом-бегом с пригорка через улицу, Пашка вдруг понял, что идет к дому Янека и остановился в раздумье на полпути. Что-то он не мог себе объяснить, ломал голову, но никак не выходило сообразить. Он жался, жался к забору. Слушал, как в саду нянька причитает над мучнистой росой на помидорной ботве. Читал надпись: «Вручить Ие Тверетиновой лично в руки». И решил перелезть через забор, отыскать окошко Яна и отдать конвертик ему. Комнаты Янека он точно не знал, никогда не бывал в гостях в соседнем доме. Переходил от одного окошка к другому, заглядывал внутрь, видел свет зеленых настольных ламп, оранжевого абажура с бахромой, видел плюшевый ковер, сплошь покрытый приколотыми значками. Слышал голоса внутри дома, но так и не видел мальчика. И вдруг по Пашкиной спине прошелся веник, «вжик-вжик». Нянька отходила парнишку что есть силы. Но почтовая сумка, перекинута через плечо плотной широкой ручкой, слегка смягчила удары. Пашка бросился наутёк. Вслед ему что-то кричали про жимолость и клубнику. Сумка зацепилась ремнем за штaketину и на ней повисла. А Пашка спрыгнул и, улепетывая по дороге в сторону своего дома, натолкнулся на брата.

- Вручил?
- Вручил.
- А сумка где?
- На заборе.
- Заберем.
- Неа... не пойду я.
- Струсил?
- Сам ты... Кому письмо снес?
- Асе П. А ты?
- Номер два — это дом Янека, понимаешь?
- Да ну? Что же он сам не забрал? Теперь спит, небось...
- Завтра узнаем. Есть хочется.
- Оладий бы мамкиных.

На шум во двор вышла Ия. Разузнала у смеющейся над поломанным веником няньки, что произошло. Попеняла, лупить маленького грабителя все же не стоило. В темноте женщины не разглядели почтовую сумку на заборе. Зато Ия случайно наступила на белый конвертик сбоку от крыльца. Подняла. Незнакомым почерком сверху было написано: «Вручить Ие Тверетиновой лично в руки». Сердце заколотилось, как у воришки. Ия заперлась у себя в спальне.

Когда Валя вернулась с теплым молоком вечерней дойки, взволнованная темнотою и слухами, бродившими по Малаховке, подруга ее уже крепко спала, обнимая подушку

двумя руками и ровно дыша. Валя погасила лампу и, оставив дверь в комнату приоткрытой, отправилась стелить себе постель — кажется, отступила болезнь. Ася же и впрямь засыпала, держа в кулачке под подушкой свое счастье — конвертик, где было написано: «Не хотел бы тебя смущать своим приходом. Возле тебя все люди, люди. Гляди на мои ромашки и поправляйся. А как станешь на ноги, я приду за тобой».

Лёня сидел возле ключа и слушал говорок воды. К ночи звуки мира природы уравнивались со звуками мира человека, замирялись два мира, стихали. Только ключ не замедлял своего бега, kloкотал, ворочался, ворчал. Лёня думал о дороге в Крым, задержался он что-то у тетки. Забавное местечко, тепленькое. Думал о Верке, Аське, Маре и Иечке. Верку хотелось наказать за заносчивость. Ведь липнет к нему сама, а все вроде вывернуть хочет, будто он ею увлекся. Так и подмывает вместе с баловницей-Леркой какую-нибудь каверзу старшенькой учинить. Барышня. Не любит он барышень. Вот Аська, она другая — совсем не барышня. Хоть папаша у нее шишка. Дачка солидная, продукты такие, что и в доме дядьки никогда не видал, а дядька не последний артельщик. Аська — дитя, Аська — первоцвет — тянет собрать нектар. Ластится, нежная. Забавнее, конечно, Мара, не зря ее Феликс зовет комиком. При своей наивности, она искушена и проницательна. И совершенно предана своему доктору. Прелюбопытный случай, сложный. Стоило бы повозиться, но время-время... дорога зовет. А вот Ия — тоже интересно и совсем не сложно. Красивая. Белая кость. А глаза у нее — ищущей чувства. Во взгляде печаль пеночки-зарнички, подстреленной на взлете. Такие дамочки сами откликаются. Они рисуют себе романтичные оправдания, кочевряжатся для виду, а после бегут навстречу своей же беде. Обрушиваются лавой неистраченного чувства, сгорают и партнера норовят спалить, если только тот не достаточно опытен и вовремя не ускользает из доменной печи. А Иечкин муж лишь изредка показывается на дачах и все по ночам. Со дня своего приезда в Малаховку Лёня даже ни разу не видел его, не был представлен. И появление Тверетинова-старшего определял по служебной машине у ворот и огоньку сигареты шофера на лавке.

Шаги за спиной Лёня расслышал даже сквозь громкий говор ключа.

Успокоившись ровным Аськиным сопением, Валя уселась на терраске дома Полуэктовых перекусить. На кухне каких только продуктов не найти: и крабы, и икра, и печень в банке. Аська отказывалась их есть и велела ничего не сообщать отцу о своей болезни. А сама Валентина не прикасалась к чужому. Потому сейчас с аппетитом уминала батон серого хлеба и запивала теплым еще вечерним молоком. Она, когда нервничала, всегда подмечала в себе неумный аппетит. Ей хотелось жевать и жевать без остановки, грызть орехи, мучить черствую корку или сухари. Поселок, умиротворенный темнотой, отходил ко сну. Где-то еще слышны были отдельные вскрики, но все реже и реже. Гудело комарьё. Редкозвездное подмосковное небо обещало и завтра жару. Валька подумала, что совсем не видит Фофанчиков в последние дни, особенно девочек. И тут на дорожку к террасе упала длинная тень. В калитку входил мужчина. Валька вскочила с горбушкой в руке и попятилась к двери в комнату.

- Напугал вас? — Виктор подошел к ступеням крыльца, но подняться не решался.
- Простите.
- А, это вы... Заходите, что же..
- Мимо шел и видел, как возвращались вы от молошницы. Непокойно в поселке.
- Садитесь. Молока будете?
- А вот буду. И хлеба дадите?
- Только у меня больше нет ничего. Оладьи мать приносила для больной.
- Как она?
- Лучше. Завтра, должно быть, встанет. А я тогда в город уеду.
- Вы часто в город.
- Откуда вам знать?
- Подмечал.
- Зачем же? Живет-живет человек и не знает, что за ним другой приглядывает.
- Вы знаете.
- Да, теперь уже знаю. Только что с того.
- Вы со дня спектакля знаете?
- Раньше.
- А когда же? Я и подумать не мог... И подойти хотел...
- Чего же не подошли?
- Не знаю, о чем говорить.
- А теперь...
- Ты бежала, как испуганный ребенок. Что-то случилось?
- Сама должна со страхами управиться...
- Поеду с тобой завтра в город. Мне за красками надо... Да не надо мне ни за каки-

ми красками. Я просто поеду.

— Едем...

Вот так за столом, где две ночи назад сидели Аська и Лёня, теперь сидели и говорили Валя с Виктором. Их ноги и руки не искали друг друга. Их губы пахли молоком, но еще не знали вкуса друг друга. Глаза. Глаза уже обменялись такими взглядами, которые делают людей родными, необходимыми, незаменимыми, неразлучными. Так, говоря обо всем подряд, они просидели почти до рассвета. Валька замерзла, поёжилась, зевнула. Виктор, уходя, сказал:

— Мне кажется, я знаю, чего ты боишься.

Валентина прикорнула в громадном кабинетном кресле, чтобы не беспокоить Аську и одновременно услышать ее, если попросит воды. Виктор, напротив, боялся заспать свое счастье. Он впервые сказал ей ты. Впервые так близко сидел рядом. Принимал из ее рук хлеб и молоко, пищу и воду. Он знал, что больше Виктор Леве не одинок. У него есть любимая женщина. И это так много, что жизнь твоя становится в один миг наполненной смыслом, радугой, воздухом. Прогуляв до рассвета от лодочной станции до оврага и ключа, улыбаясь — не мог не улыбаться, — он возвращался к «Пенатам». И когда уже светло, увидел, как со стороны реки в свой дом быстрым шагом, кутаясь в дырчатую вязаную шаль, возвращалась Ия Тверетинова.

Почтальонка на утреннем развозе обнаружила висящей на тверетиновском заборе потерянную накануне сумку. Калитка дома еще оставалась запертой. Не получив разъяснений или разгадки странного случая, почтальонка поспешила разнести остатки вчерашней корреспонденции. Нянька встала по-старчески рано, перекрестила рот, заглянула в детскую, перекрестила Янека, укрыла сползшим на пол одеялом, перекрестила дверь в спальню Иечки, дай Бог, дай ей Бог, пусть поспит еще, касатка. Ия же лежала поверх неразобранной постели, уставившись в потолок. Сон не шел. Что такое произошло с ней, с ней — Ией Белавиной? Она — мужняя жена, мать троих сыновей — бегала тайком на свидание к едва знакомому мужчине. Прогуляла ночью почти четыре часа. Позволяла чужим бесстыжим глазам ощупывать свою шею и грудь. Смеялась, как какая-нибудь кокотка из конфекциона. Смех оборвался, когда её спутник решился искупаться в черной воде. И купался он нагим. Берег холодно серебрился осокой и плакучими ивами. Леонид что-то кричал про парное молоко. А Ию передергивало ознобом, она не смогла ни убежать, ни оторвать взгляда от голого молодого тела. Что на нее нашло? Но, слава тебе Боже, не допустила ничего. А все же стыдно, стыдно, ах, как стыдно! И разве в том оправдание, что на дачах острее, чем в городе, ощущалось отсутствие дома, подобия семьи, близости? Разве в том оправдание, что у них с Тверетиновым все так невообразимо, дико запуталось? Отсутствие гармонии — для кого-то такой пустяк — угнетало её. Уже при полном солнце, надсадных криках петухов в курятнике у коменданта и неистовом лае в божий свет какой-то взбесившейся дворняжки Ия заснула вязким сном намаявшегося бессонницей человека...

В нынешний внеплановый приезд в город в свою городскую квартиру в Гончарном переулке Феликс Евгеньевич заскочил ненадолго. Требовалось отыскать бумаги для хлопотного дела, какое нынче занимало все его время, мысли, сны и разговоры с Марой. Приём на сегодня не назначался, пациенты летом болели реже или так казалось по их отпускам и разъездам. Анисовну доктор Леве не застал, зато раскланялся с мужем ее — дворником, а тот остановил доктора с известьем: третьего дня о семье Леве спрашивал невысокого роста человек, пузатый, в сером костюме и шляпе. Потел, пыхтел, отфыркивался, интересовался днями приёма, ждал во дворе на лавочке, после ушел, пообещав навеститься. Дворника просил не говорить никому из Леве о своем визите. Но дворничиха лечилась у доктора от увеличения печени и «шляпа», как окрестил толстячка сам дворник, неприятно напоминал шпика из охранки. Потому доктор был уведомлен и предупрежден. Странно, но теперь упоминание о Шестом ничуть не задело Феликса Евгеньевича. А Пятый вовсе уехал на все лето в Комарово, что стало само собой выходом из ситуации. Сейчас Феликс Леве горел большой идеей и сложностями ее воплощения. И помимо того, его беспокоило только состояние матери. После обнаружения какой-то своей пропажи — о чем шла речь, никто в семье не догадывался — у старушки случился удар. Дни напролет она лежала, уставившись в потолок. Периодически поминала про красный ридикюль и мутоновую муфту. Сын пользовал ее. Боялся беспомощности, помутнения рассудка у старушки. Но в большей степени доктору все же казалось, что мать просто приняла такую линию поведения: глухую защиту. После криков: «По миру пустили», — она теперь либо молчала, либо шептала свое неперемное: «О, Суоми, Суоми». На приходы сына отворачивалась к стене. Но вездесущая Лерка докладывала отцу, что, оставаясь одна, бабуля раскладывает пасьянсы. Гомеопатические пилюли старушка принимала только из рук Лерочки и еще успевала делать замечания чухонке по своему урезанному в связи с недомоганием рациону.

Во второй приезд Валька застала Константина Наумовича дома. Получила обещанную работу. Выслушала его смешливый рассказ о приключениях в поездке на Рязанщину и под Тулу. Напилась чаю с тульскими пряниками. Спросила про услышанные стихи. А... молодой поэт Роберт Р. И имя запоминающееся. А после состоялся разговор, ради которого она уже не первый раз моталась в город. Ей легче стало и тревожней, конечно, но все же гораздо легче. И к Виктору, ожидавшему во дворе, у запертых на цепь чугунных ворот, она подскочила девчоночьей задорной походкой. Хотелось пропрыгать на одной ножке. Они не сразу отправились с Каланчовки на вокзал. Поехали в Сокольники, поели в парке мороженого, покатались на аттракционах. Вальке мечталось привести сюда детей, что они видят круглый год в дачном поселке? Виктор запомнил и знал, что так и будет — приведут вместе. Он не расспрашивал Вальку про разговор с писателем. Ждал, что расскажет сама. Был чуток, бережен к ее легкому настроению, будто чувствовал всю его хрупкость, скоротечность. Девушка очень сдержанно вела себя с ним, позволяла только за руку взять или помочь залезть на вихляющиеся в цепях качели. Но все, чего ожидал от их сближения, он находил сейчас в ее смеющихся глазах, и того хватало сверх меры, сверх ожиданий его одиноких дней и ночей, отшельнически брожений речным берегом. Он хотел поделиться с Валентиной своими сомнениями по одному поводу, что два дня уже грызут его самого. Но все та же зазорность ее настроения не дала выговориться. Успею еще, останавливал он себя. Обратная дорога на электричке казалась обоим долгим путем в поезде дальнего следования, в котором они едут совсем одни, будто безо всех других пассажиров — соседей по желто-деревянной, покрытой лаком лавке. Едут молча, улыбаясь и зная главное. В поселок они входили вдвоем, держась за руки.

Наступил Духов день. У Лева собирали чаепитие для своих. Пекли пироги, ватрушки, кулебяку. Звали Тверетиновых, Полуэктовых, Вальку Фофанову. Молодежь из Карзинкиных и Яцунских обещалась быть позже; те отправились в Красково на знакомство с пилотом кукурузника. Мара затевала очередную постановку, и ей хотелось обсудить выбор пьесы. День выдался жарким, как вчера и завтра. Гостей ждали к вечеру. Пока же каждый улаживал свои дела. Валентина увела сестер и братьев купаться на Македонку. С ними засобирался и Виктор. Комендант у себя в сарайчике скручивал в тюки матрасы и подушки — закончил починку. К Асе приехал отец, всю ночь из его комнаты слышались то глухие звуки — как от падения тела, то звонкие — звяканье битой посуды. Ася сторожила выход и никуда не отлучалась из дома, но мысли ее вертелись возле двух имен — Лёня и Мара. Леонид так и не навестил, ромашки засохли и гербарий оказался безжалостно выкинут Валентиной. И о словах Марины Артемовны думала Аська — в театральном тебе надо, учиться по-настоящему. Отец будет против: клоунеса...

Лёня сидел дома без дела, скучал, потому с легкой готовностью присоединялся к чужому занятию, переходя из комнаты в комнату. Заглянул к старухе, справился о ее здоровье. Та не удостоила вошедшего ответом, но и не отвернулась к стене, как при приходе сына. Цепко, колючим взглядом, не снимала рук с закрытой на ключ шкапулки, лежащей на впадом животе, следила за Лёней, как будто он виноват в ее обездвиженности. Лёня навестил Феликса Евгеньевича в кабинете. Тот сосредоточенно возился со своими препаратами, взвешивал порошки на медных старинных весах. Теперь на месте портсигара на столе красовалась крупная колба с песочными часами, как бы прочно заполняя освободившееся место. Не найдя в дяде собеседника, из кабинета Леонид направился в спальню к Маре, осторожно постучал костяшками пальцев в дверь, собрался войти в тишину комнаты, но тут с лестницы подскочила Вера и утащила смотреть новые работы Виктора.

Комната Виктора уже давно походила на мастерскую. Жильцу здесь оказался отведен один угол с узкой железной кроватью и узким же платяным шкафом. Все остальное незанятое пространство — подоконники, стол, два стула, этажерка, дощатый пол — принадлежало художнику, и его заполняли готовые работы, подрамники, этюдник, банки с кистями и тубы с красками. Вера веселилась и кружила Лёню на свободном от беспорядка пятачке, довольная собой, так как раскрыла тайну Виктора. И Лёня разглядел ту тайну. На одном из подоконников против света стоял еще не высохший портрет, с которого навстречу всем входящим улыбались лазуритовые Валькины глаза. Лёнька выдернул свои руки у вальсирующей Веры. Та даже несколько опешила от неучтивости кавалера. Лёня отправился искать Мару в детской, в комнате у сестер, в зале и на веранде, хотя еще раздумывал, сообщать ли о своем завтрашнем отъезде.

Бегло оглядывал гнутую, разного калибра мебель карельской березы и красного дерева, со стертým верхом, стасканную за ненадобностью в городской жизни на дачу. Ничего уже не держало его в теткинóм доме с поломанным барометром, треснутыми фарфоровыми статуэтками, пыльными костяными шахматами, поломанными веерами

и полинялыми театральными масками, треснутыми колбами и гнутыми весами. И ночная прогулка с Ией только раздражила его и утром раздражала оскоминой неудачи. Барынька сама не знают, чего хотят. Стоило взять ее под локти и чуть притянуть к себе, как вдруг навзрыд расплакалась, вырвалась и побежала прочь. А до того уже несколько часов сидела с ним на берегу реки, каталась в лодке, слушала обычный его набор романтических разлагольствований. И Валькин портрет злил, ох, как злил. В смеющихся тех глазах он прочитал чужое счастье. Хлопнул скрипучей дверью. И дело, ради которого он тут, — не выгорело. В Крым, в Крым, к морю, на свободу из сонных дач, бесивших бездельем, умиротворенностью и душным благополучием. Теперь Лёня искал Мару, обходя дом, комнату за комнатой, но Мары нигде не было.

Марина Артемовна отдавала наказы чухонке в летней кухне. Вернее будет сказать, советовалась. Потому что кухарка лучше знала свои возможности и вкусы семейства. Как обычно, обещалась помочь с угощением Прасковья Захаровна. А еще обе они — кухарка и хозяйка — заговорщицки шептались по поводу скорой поездки чухонки к сыну. Борисик с Янеком напрасно ждали записки от тайного друга, тот молчал. Решили, что Петька с Пашкой не выполнили задания. А братья, как назло, не показывались. Тогда ребята придумали сами написать записку тайному другу и оставить ее в щели забора у ракиты. Да проследить, кто заберет. Отправились к отцу Борисика в кабинет за бумагой и пером, но доктор сердито выдворил их. Ребята поискали бумагу в комнате Виктора, но нашли там только какие-то клочки обертки, ветошь и кисти. Хорошую бумагу и чернильную ручку они отыскивали лишь в комнате Леонида.

Сегодня подали обед поздно. Мара все тянула, будто чего ждала. Но ждать было некого. За столом в зале собрались все Леве и Леонид. Не пришел к нужному часу только Виктор. Подошла Ия, прибежали Валентина и Ася с венками ромашек, последним примчался Борисик с заговорщицким видом. Старуху-мать усадили тут же на веранде в кресло-качалку и по ее просьбе подали бокал кагора. Некстати заявился Фофанов с перевязанным шпагатом тюком на спине и пёстрым узелком в свободной левой руке. И его пригласили за стол. Тюк из рук пришедшего приняла чухонка, узелок комендант оставил при себе. Скрипели стулья, звенела посуда. Чухонка разливала из фарфоровой супницы мясную солянку. Борисик не выдержал и, победоносно глядя на отца, выложил на стол серебряный портсигар. У поварихи половник булькнул в супницу. За столом внезапно встала тишина. Все завороченно смотрели на находку — прежде пропажу, лежащую теперь между солонкой и соусницей.

— Борис! Откуда эта вещь у тебя? — строго спросила Мара.

— Мы с Янеком — следопыты! Обнаружили в столе у дяди Лёни. Между ящиками застрял... Папа, это ведь та коробочка — прадедушкина?

— А что вы, собственно, делали в комнате у дяди Лёни? — допытывалась еще не пришедшая в себя мать.

— Писали письмо тайному другу.

Доктор открыл портсигар, щелкнув крышкой, заиграла мелодия трех бронзовых колокольчиков.

— Мара, какие тайные друзья? Я не понимаю... Леонид, объяснись!

— А он вовсе не Леонид, — откликнулась с другого конца стола Валентина. Все обернулись на ее охрипший вдруг голос.

Лёня расхохотался, откинулся на стуле, ничуть не смущаясь. Чухонка поставила супницу с потонувшим половником на столик в углу веранды. От ворот застучали, в приоткрытую калитку просунула голову почтальонша и вошла на участок.

— Всем доброго здоровья. Телеграмма Марине Артемовне. Распишитесь.

Почтальонша получила расписку, окинула быстрым взглядом стол, но вынуждена была ретироваться, так как из-за стола поспешно поднялся хозяин дома. Он направился навстречу входившим на участок Виктору и какому-то мужчине. Феликс Евгеньевич обнялся с гостем и пригласил к столу. Чухонка уже несла две чистые тарелки, приборы и другой половник. Борисик нехотя дохлебывал первое. Взрослые, кажется, недовольны его следопытской удачей. Виктор присел на свободное место рядом с Леонидом. Гостя посадили напротив их, около Валентины. Девушка смущенно улыбнулась соседу, и мужчина пожурил её:

— Ну-ну, ничего, ничего.

Феликс Евгеньевич представил пришедшего:

— Прошу любить и жаловать. Константин Наумович. Личность — выдающаяся...

— Ну-ну, не выдумывай...

— Настаиваю. Выдающаяся личность. Писатель, историк, подвижник земли русской. В свое время серьезно занимался историческими изысканиями по восемнадцатому веку и родом Леве, в частности. Нашел редкие документы о службе нашего предка в лейб-медиках Екатерины второй. Раритеты.

— Bonjour, — голос старухи, пьющей кагор из бокала, прозвучал глухо, как из сырой бочки.

— Здравствуйте. Здравствуй, Семен, — Константин Наумович обратился с нажимом к Леониду и через паузу стал как бы объясняться перед присутствующими: — Племянник мой, вернее, приемный сын моей сестры. С шести лет она воспитывала его. В тридцатых пацаненком взяла из детдома. Отсюда, кстати, из малаховского приюта для сирот.

Семен не ответил. Но перестал ухмыляться и раскачиваться на стуле. Он смерил всех взглядом и остановился на лице Валентины.

— Мстишь? Бегала за мною, хуже Верки...

Резко ложкой по столу стукнул Виктор.

— Замолчи.

— Послушайте, Константин Наумович, мы же с вами не родня. Это мой племянник, — недоумевая, медленно растягивая слова, спросила Мара, — Лёничка — сын моей двоюродной сестры из Архангельска? Я держала его на коленях лет в пять... Он же мне теперь про варенье рассказывал... крыжовенное... у сестры все любили крыжовенное...

— А в каком русском доме не любят варенья, Марина Артемовна? — произнес писатель. — И потом у него фантазия такая, что иной раз и мне, писателю, не сочинить. Вот с совестью тут значительно хуже. Подвел ведь, подлец, и не меня одного. Когда жил в нашем доме на Каланчовке, мы же его за своего, за родного принимали...

— И мы... — глухо откликнулась Мара и взглянула на смущенную Веру. — За родного...

— Я знал, знал, что он не тот, за кого себя выдает, — Виктор вдруг загорячился, вскочил. — Но уверенности мне не хватило вот так запросто обвинить человека. Знаете, когда я понял? Когда геолог не смог определить карбоновые отложения, ну, колониальные кораллы мелового возраста. Их здесь запросто на карьере обнаружить можно.

— Квипрокво, — сердито откликнулась старуха. — Жуир.

— Что же ты молчал, Виктор! Вечно твоя нерешительность подводит тебя, а теперь и нас всех, — в сердцах упрекнул Феликс брата.

— Интеллигентские штучки, — засмеялся Семен. — Погубят они вас, товарищи, погубят. Вы все в господ играете. Вы сами коралловые отложения мелового возраста. А на дворе коммунизм широким шагом ступает. Историю делают люди. А вы все в гамаках...

— Ну, ну, демагог. Трепаться научился.

— Я виновата, что смолчала. Хотела открыться, но прежде понять, зачем он... И ошарашила откровенная человеческая наглость... — Валентина обводила глазами всех за столом, прося прощения. — Вот Константина Наумовича искала, потом Аська заболела и все в бреду Лёню звала... Думала, не поверит, приревнует...

— Ты не смущайся, Валя. Я сама скажу. Влюбилась. Первый раз в жизни влюбилась, — Ася смотрела на Мару, будто к маме обращалась. — Почему, Марина Артемовна, так больно? Почему сразу наотмашь?

— Девочка моя... — Мара сама едва не плакала.

— И тут Сёмка наследил. И что ты за животина такая?.. Ведь когда архивные бумаги из дому пропали, неприятности и у меня случились, и у Валентины. А вроде налаживалось у них. На нее сперва подумали. Она ведь тоже знала, где лежат. Хорошо, пропажа в антикварном магазине отыскалась да органы разобрались. Только вора до сих пор не взяли, — Константин Наумович пристально, не отводя взгляда всматривался в племянника. — Вот есть люди — черные — нуждаются в грехе. Им грязь дай, тьму. Они сами от света-то отрекаются. И к чужой катастрофе безразличны.

— Наш Лёня — веселый, культурный, — Вера еще пыталась вступить.

— Семеном его зовут, — Валька обращалась к Вере.

— Какие же вы легковёрные... до глупости... Сказался им из Архангельска, они и растаяли... Родня...

— Глумится еще, — Феликс недоумевал, едва верил.

— Ведь чтоб на стороне тьмы стоять, какую силу надо иметь... Мамоне служить — тоже ведь выбор. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» — продолжал Константин Наумович. — В бумагах тех, помимо послужного, написано о былом богатстве рода Леве. Польстился, родственник...

— Родственник?! Мара, прочитай же, что в телеграмме? — Феликс пытался вывести жену из оцепенения, вспоминая ее нервное расстройство после кражи. — Ради Бога, прочти уже!

— Это он? Феликс, скажи! Он вспарывал наши матрацы и подушки, лазил в бельё...

— Я был с вами на спектакле.

— Врешь, ты под конец пришел.

- Злобная ты, Валентина...
- Мара, телеграмма!
- «Дорогая Марина, – голос у Мары задрожал. – Дорогая Марина зпт Леонид заболел воспалением легких по дороге на восток тчк». Что это, Феликс?
- Что это, Костя?
- К сожалению, дурная весть. Скорее всего, вашего племянника этапировали в лагерь.
- Господи! Господи!
- О, Суоми...
- Лучше бы отправили тебя. А не настоящего Леонида.
- Злая ты, злая. А я, как видишь, жив, здоров и собираюсь не на восток, а на юг.
- Ну, ну, это-то вряд ли...
- Что вряд ли, дядя? Я свободный человек в свободной стране строителей коммунизма. Мне опротивела чахоточная дачная жизнь. Вы же все – хлам! Вы – пыльные. Люди с прошлым? Рептилии. Вас уже отменили. Притворяетесь, что счастливы и довольны. Кто счастлив? Ия? Бежит на свиданку по первому зову...
- Какой passage, – старуха остановила пятками кресло.
- Или Аська с отцом-алкоголиком счастлива? Вы же сами тут говорили, он смолчал, когда жену объявили мадьярской шпионкой. Разве не через него она померла? Или счастлива неудавшаяся прима-комедиантка? Прекратите врать сами. И не говорите мне, что чувствовать...
- Заткнись.
- А, художник... Малюешь картинки. Слабак, слюнтяй, неудачник. Знаешь, как я любил ее? Рассказать?
- В тот же момент Семен слетел со стула. Виктор свалил его ударом слева в скулу. Комендант помог подняться упавшему и усадил на поднятый стул. Семен не ожидал удара, тер скулу, исподобья косясь на обидчика.
- Обед окончательно расстроился.
- Так это Леонид ограбил наш дом? – воскликнула вдруг Лера. – Зачем ты так напугал нас? Что ты искал?
- Семён он...
- Заберите у него, заберите... – старуха Леве обронила на пол бокал с недопитым вином и указывала костлявым пальцем в спину сидящего перед ней. – Пусть вернет, самозванец.
- Не это ли вы ищите, – комендант развязал женин шерстяной платок и выложил на стол сизый, смахивающий на дохлую кошку, потраченный молью предмет.
- Муфта?! А ридикюль? – воскликнула старуха.
- Фофанов вывернул ветхую муфту, внутри ее прятался потертый кожаный кошель. Плотно набитый. Не открывая, мужчина передал сумочку в руки старухе. Чухонка тут же с брезгливостью скинула «дохлую кошку» со стола.
- На недоуменные взгляды Фофанов объяснился:
- Мне вот повариха ваша... в починку... еще тогда до спектакля. Ну один матрац-то недолго, но все руки не доходили. А потом взялся... что такое? Мягко-мягко. А внутри твердо. А тут у вас кража... Теперь вот все матрацы я вам как новые сделал. Спать как принцы будете. А в кошель тот я заглянул. Монеты царские... Себе не брал. Не выучены мы на такое. Так что... пожалуйста... А матрацы... плату она внесла, как договаривались.
- Чухонка – дура! И ты – чёрт, дурак! Ты бы сейчас с такими деньгами... Какой там Крым... Париж...
- Зачем мне тот Париж? Мне от Малаховки... от Македонки...
- Темнота. Деревня. Ой, что же так не везет-то... Что за день такой выпал? Все. Спасибо, тетя. Спасибо, дядя. Пора отчаливать.
- Опять заскрипела калитка. Семен резко поднялся, стул под ним снова упал на бок. Он почему-то направился в сторону, к перилам веранды. Но путь преградил Виктор.
- Ну, ну... и вправду тебе пора, – Константин Наумович кивнул на участкового, идущего к крыльцу.
- Семен дернулся к перилам, но тут его перехватил комендант: «Стой, епиходов кий!» Зашел розовощекий участковый в форме с португеей.
- Здравия желаю. Как договаривались... Вот задержался только. Что за день сегодня выпал! Двоих только вот приняли. Они в Удельной ларек вот вскрыли. Взяли водки, папирос и опять бычки в томате – гурманы, понимаешь. А тут вот и у вас еще... Загля-денье, а не день! Пройдемте, гражданин. Сперва вот в отделение с товарищем писателем. Потом в Москву доставим. Бесплатно. Вот.
- Эх, сестру жалко... за что ей, горемычной?
- Когда в сопровождении Константина Наумовича участковый увел Семена, на ве-

ранде поначалу стало тихо. Вслед арестованному не взглянули ни Валентина, ни Ася, ни Вера, ни Ия. И он ни на кого не взглянул. Не верил, что все так серьезно: дядька выручит.

— А как же новая пьеса?

— Комик вы, гражданка Мокричкина.

Постепенно пошел разговор, замелькали вилки и ножи. Борис сбегал за отобедавшим Янеком, и теперь они шептались за крыльцом. Пожаловала Прасковья Захаровна с теплыми плюшками: «Ангела за трапезой». Чухонка собрала грязную посуду. Пospel самовар. Старуха Леве предлагала сыграть в кункен, но желающих составить ей партию не нашлось. Феликс совершенно недоумевал на такие молниеносные перемены в настроении матушки. Он был поражен произошедшим, своей близорукостью, допустившей присутствие чужого человека в доме под видом родственника. Поражен тайником матери, о котором никогда не подозревал. Знал только про существование шкатулки с дорогими безделушками. Мара грустила над телеграммой. Вера с Лерой любопытствовали на Валентину и Виктора, севших рядом, на Ию, гордо державшую голову. Тут Ффанов обнял Аську за плечи.

— А ты поплачь, дочка, всплакни-ка погромче... Полегчает...

Мара пересела к Асе, прижала ее к себе. Аська и впрямь расплакалась. Плакала о маме. И об отце плакала. Потому что жалела. Потому что его болезнь — кара за слабость, за предательство, игра в прятки с вечно саднящей совестью, от которой не избавишься, как от пустой стеклотары. Уже завтра у них не будет, как прежде. Она уедет и станет строить свою жизнь, не номенклатурную, а простую человеческую жизнь. И она никогда не забудет несуразный дом в «Пенатах», который почти заменил ей дом, где была еще жива мама. Она не будет так тянуть и мучить себя, как мучит Ия Тверитинова. Она не будет жить рядом с разрушающим. Она выберет пространство света.

А «Пенаты» скоро опустеют. Еще до закрытия дачного сезона отсюда уедут все Леве. Мара перед отъездом отщипнет щепочку от забора. Бережно завернет ее в белый платочек — на память. Останется только Виктор. Потому что куда ему ехать от его семьи, от Вальки и Ффанчиков. Почтальонша снова принесет телеграмму в дом на пригорке, с башенками, колоннами и флюгерами. И там будут такие слова: «Дело за вами тчк Готовы принять тчк Телеграфируйте выезд тчк». Телеграмма придет из Финляндии, от родни Феликса Евгеньевича по материнской линии. Родственники подадут в официальные инстанции согласие на прием советских граждан. И спустя несколько месяцев с готовыми документами семейство Леве пересечет границу. Уезжая из Малаховки, Борис станет смотреть с заднего сиденья такси на дом на пригорке с криво прибитой табличкой «Пенаты», на ржавую в подтеках крышу дома коменданта, на высокую калитку тверитиновской усадьбы, на планирующий над поселком кукурузник. Будет смотреть в последний раз, чтобы запомнить накрепко, чтобы жизнь уже не разомкнула круг. Янек с Борисом теперь не увидятся никогда. Хотя кто знает.

Полуэктова в конце лета сняли с должности. Тверитинов-старший недвусмысленно улыбался в сторону дачника в майке и кальсонах, разводящего на грядках томаты и лук-порей. Все, человек уже не существует. Погоди еще, голубчик. Госдачу отберут, выкорчуют твою ботву. И сосед с другой стороны его раздражал. Один из Леве — что удумал: к Ффанарщику перебрался. Ближе к народу. Размазаться. Выкресты. Попудисты. А дача огромная пустует, глаза застит. Ия не выносила застольные разговоры мужа под стопочку. Затыкала ладошками уши, выходила из столовой и запиралась до утра в своей комнате или ночевала у Панюси в светелке. Уехавших Леве Тверитинов теперь звал оппортунистами.

Но осенью и самого Тверитинова-старшего сняли с должности. Seriously понизили, и теперь на новом посту он проявлял вдвое, втрое служебного рвения, забыв о семье. Шкуру собственную спасать надо, пока еще он существует. И тогда уже Янек не был счастлив, после отъезда Бориса, перенесенной лихорадки и синего стульчика в явочных квартирах, куда прежде таскали его порученцы отца. Но даже отъезд Иечки с Яном и нянькой в Ростов-на-Дону, где служили старшие сыновья, прошел для самого Тверитинова отстраненно, буднично, в завесе — будто в дыму на торфяных болотах. Уже следующим летом на колоннах ростовского театра висели афиши, приглашавшие на гастроли московского студенческого театра. Среди имен артистов внизу слева мелкими буквами значилось имя: Ася Малахова. Ия с Панюсей и Янеком ходила на премьеру.

А по дачам Малаховки по-прежнему неторопливо катилось лето. Македонка все мелела да ключи вокруг высыхали. Неподалеку лежала деревенька Верея — бывший хутор в пять дворов — хирела, но не исчезала, хранимая старой верой. Видать, в том особый промысел Божий.

Теперь всё в прошлом. Даже вчерашнее. Для каждого дня довольно своей заботы. Но жизнь пока не разомкнула круг.